



ТРУМАН ГЭЛЛОТ

ГОЛОСА ТРАВЫ



# ТРУМЭН КЭПОТ • ГОЛОСА ТРАВЫ



ПОВЕСТЬ • РАССКАЗЫ

Перевод с английского  
С. МИТИНОЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Москва 1971

И (Амер)

К98

**Трумэн Кароте**

**THE GRASS HARP**

**Предисловие**

**М. ТУГУШЕВОЙ**

**Художник**

**В. ЮРЛОВ**

**7—3—4**

---

**177—71**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

**И**мя Трумэна Кэпота давно известно американскому читателю. Его многочисленные портреты изображают серьезного, млажавого человека (Кэпот родился в 1924 году), в глазах которого есть, по словам критиков, что-то «таинственное» и «детское». Он действительно кажется большим ребенком, заблудившимся в мире взрослых. Недаром Кэпот любит писать о детях и подростках — впрочем, это характерно для многих современных американских писателей. По воспоминаниям Кэпота, его детство было в высшей степени «незащищенным». Родителям было не до него, и они отдали мальчика на воспитание к родственникам, в южный штат Алабаму. Отрочество Кэпота было чредой побегов и возвращений. Чем только он не занимался во время своих странствий: раскрашивал стеклянные вазы, отплясывал чечетку, выступая с джазом на прогулочных пароходах.

Писать Кэпот начал рано. Критика заметила его и возвестила появление еще одного писателя «южной школы».

Литература Юга США — явление специфическое. Для нее характерны неприятие коммерческого ажиотажа, бизнеса, протест против нравственного вырождения (которое писатели-южане нередко связывают с губительным влиянием промышленного Севера); при этом ей свойственно реакционное отрицание прогресса вообще, склонность идеализировать патриархальные устои аграрного Юга, его рабовладельческое прошлое. В произведениях писателей-южан действительность часто предстает как непознаваемая, ирреальная данность, а человек — как игрушка сверхъестественных сил или не контролируемых разумом животных инстинктов. Богатый южный фольклор с его пристрастием к потустороннему, мистическому способствовал развитию в южной литературе так называемого готического направления, для которого характерен повышенный интерес к романтическому — подчас страшному, даже кошмарному.

Трумэн Кэпот не любит, когда его называют писателем-южанином. Может быть, потому, что на некоторые типично южные мотивы его творчества «накладываются» (как мы это видим и у других талантливых художников южной школы — Фолкнера, Уоррена) мотивы, свойственные американской литературе XX века в целом, — стремление личности к самопознанию, разрыв между мечтой и действительностью, борьба между добром и злом. И все же творчество Кэпота несет на себе явную печать влияния южной школы. В его произведениях мы, как правило, ощущаем атмосферу маленького южного городка, где

все друг друга знают, где немало странных существ, где между хозяевами-белыми и слугами-неграми подчас существуют патриархальные отношения. Но в этой тихой, размеренной, идиллической жизни таится немало страшного, уродливого и под оболочкой обманчивого спокойствия бушуют мятежные страсти, стонет одиночество, зреет протест.

Творческая эволюция Кэпота свидетельствует о том, что писатель все более проникается мыслью о враждебности современной американской действительности человеку.

В ранних произведениях Кэпота силен иррациональный страх перед жизнью. Так, в новелле «Закрой последнюю дверь» он пишет: «Все наши действия продиктованы страхом. Человек одинок и осужден на вечное одиночество, и не потому, что он не может любить или быть любимым, а потому, что никто не может разделить его мечты. Он одинок в своем мире грез». Но все-таки даже ранний герой Кэпота не хочет смиренно принимать свой «неизменный» удел — одиночество и пытается наладить связь с другими людьми. Чем реже ему это удается, тем больше он уходит в мечты. В произведениях Кэпота всегда как бы сосуществуют два плана: мир действительности и мир мечты, противопоставленные и враждебные друг другу. Но мечта, греза, как правило светлая и романтическая,— достояние лучших героев Кэпота.

Другая характерная черта творческого стиля Кэпота — юмор, зачастую соседствующий с гротеском. Стиль его как бы подобрал в себя две литературные традиции: одну, идущую от готических рассказов Эдгара По, другую,— прямо восходящую к устной развлекательной новелле, какие когда-то рассказывались в деревенских кабачках (именно отсюда в рассказах Кэпота неторопливая разговорная интонация). И не случайно поэтому в сборнике новелл «Древо ночи» (1949) остро-сатирическая картинка провинциального быта «Я тоже могу такого порассказать...» соседствует с «Мириэм» — зловещей фантазией в духе Эдгара По. Иногда гротеск в творчестве Кэпота выступает не только как самодовлеющий художественный прием, но и как способ показать действительные аномалии в жизни общества и уродуемых им людей. В основу новеллы «Горе-злосчастье» положена неправдоподобная, казалось бы, ситуация: девушка Сильвия продает свои сны таинственному мистеру Реверкому, который одиноко живет в мраморном дворце. Друг Сильвии, клоун, так объясняет, почему этому чудовищу понадобились сны девушки: «Сны — память души... Может быть, у него самого души нет, вот он и обирает твою!..» Можно, конечно, предположить, что мистер Реверком — психоаналитик, а Сильвия — де-

вухка с расстроенным воображением, которая лечится у него. Но суть в том, что в рассказе Кэпота, по словам американского критика И. Хассана, запечатлено «одно из проявлений дегуманизованного общества, в котором мы живем». Обездоленные вынуждены продавать единственное личное достояние — сон, мечту.

Причудливое смешение реального и фантастического есть и в других новеллах Кэпота. Так, в рассказе «Бутыль серебра» Ноготок наделен автором некоторыми атрибутами магического и необъяснимого: и дед его был ведуном, и сам-то он родился в сорочке. Но хотя автор как будто склонен верить в дар тайного прозрения Ноготка, он заставляет читателя задуматься: а не потому ли мальчику улыбнулось счастье, что роль Фортуны сыграл добрейший мистер Маршалл, владелец аптеки с торжественно-мрачным названием «Валгалла»?

Первая повесть Кэпота «Иные голоса, иные комнаты» была опубликована в 1948 году. Пессимистический тон ее звучит уже в эпиграфе, взятом из книги пророка Иеремии: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?»

Впоследствии Кэпот говорил: «Мне чужда эта книга. Человек, который ее написал, имеет мало общего со мной теперешним». И действительно, следующая повесть писателя разительно отличается от первой. В «Голосах травы» (1951), как и в рассказе «Воспоминания об одном рождестве», много автобиографического. Тема ее уже традиционна для Кэпота — это конфликт прекрасной мечты и неприглядной житейской прозы. В повести вновь действует излюбленный герой Кэпота — подросток. Другок («Воспоминания об одном рождестве») и Коллин Фенвик — одно и то же лицо, только в «Голосах травы» герой несколько повзрослел, теперь он уже опора и утешение для своей старой тетки, а порой и советчик. Характерная особенность творческой манеры Кэпота — воссоздание образа мира таким, каким видит его не искушенный злом, чистый душою ребенок, — получает в повести дальнейшее развитие. Герой изо всех сил сопротивляется миру, который навязывает ему «взрослый», «нормальный» взгляд на жизнь («нормальный» здесь уже толкуется как алчный и пошлый, буржуазно-продзаический). И герой Кэпота, особенно чувствительный к несовершенству, лжи и лицемерию, старается создать «заслон» между собой и реальным миром. Из взрослых ему близки только те, кто так же добр и чист сердцем, как он сам, так же беззащитен и не хочет приспособляться к этому миру, «стригущему всех под одну гребенку». Одиннадцатилетним мальчиком он попадает в дом двух пожилых родственниц, Вирены и Долли. Вирена — самая богатая жен-

щина в городке, она владелица магазина готового платья, бензоколонки, бакалейной лавки, и «нельзя сказать, что, наживая это добро, она стала покладистым человеком». Зато Долли — сама доброта и кротость. Ее бесшумная походка, длинные платья-«хитоны», пристрастие к розовому цвету — все в ней не похоже на других и все пленяет Коллина.

В американской литературе было много романтических существ. Но разве только в литературе? Прообразом Долли вполне могла быть казавшаяся такой чудной обитателям Сейлема сестра писателя Н. Готорна — затворница Элизабет или американская поэтесса Эмили Диккинсон. Героиня «Голосов травы» — «очарованная странница», которая живет на островке остановившегося времени, она путешественница, плывущая вдоль «туманного берега своей мечты». Противоречие между ней и Виреной — воплощение полного разрыва между мечтой о прекрасном гармоническом бытии и отталкивающей действительностью. Стяжательство превращает Вирену в расчетливую охотницу, «чья добыча — деньги». Сохранить в себе человека — по мысли Кэпота — можно, только отказавшись от иссушающей душу погони за деньгами. Однако общество настолько охвачено жаждой наживы, с горечью констатирует писатель, что доброта, бескорыстие воспринимаются как экстравагантная нелепость, болезненное отклонение от нормы. С точки зрения горожан (в том числе и Вирены), Долли — «полоумная»: она могла бы разбогатеть — и не хочет. Долли равнодушна к деньгам. Свое снабдьбе от водянки она рассылает почти даром, потому что это дает выход ее горячей симпатии к людям и желанию им помочь.

Отвращение к наживе явственно звучит и в рассказе «Воспоминания об одном рождестве». Вот Дружок и его старая Подружка считают деньги, которые они скопили для рождественских пирогов: «Унылые монеты по полдоллара, такие тяжелые, что ими можно прикрыть глаза мертвеца... и отвратительные, горько пахнущие медные центы...» Деньги грязны, отвратительны, мертвы, унылы, как и все те, кто поддается их власти. Не случайно герои Кэпота или бедны, или совершенно равнодушны к деньгам, как Подружка и Долли Тэлбо, которая весь свой доход тратит на детские забавы и сласти. Но шоколадные обливные торты и помадка, которыми убажают себя Долли, Кэтрин и Коллин, приобретают в повести Кэпота метафорический смысл. Эти трое словно живут в своем особом «пряничном» городке, где только не хватает фонтанчика из лимонада на главной «пряничной» площади. Писатель все усиливает сказочный элемент повести. Когда-то в детстве Долли оказала услугу цыганке, и та, словно волшебница, открыла ей секрет изгото-

ния зелья от водянки. И вот теперь состарившаяся Долли ходит по лесу и собирает в мешок корешки и листья, из которых варит свое снадобье. Она крепко прижимает к себе этот мешок, «словно там у нее заколдованный маленький принц с синими волосами». Но сказке приходит конец, когда Вирена, подсчитав выручку Долли за год, решает поставить дело на коммерческую основу. С помощью расторопного доктора Ритца Вирена заказывает броские этикетки для склянок с Доллиным снадобьем. Теперь она будет гнать его бочками, построит целый завод. Но тут Долли взбунтовалась. «Лицо ее стало твердым, она вскинула голову и, прищурившись, посмотрела сперва на доктора Ритца, потом на Вирену.— Не выйдет,— тихо проговорила она. Подошла к двери, взялась за ручку.— Не выйдет. Не имеешь права, Вирена...» Этот бунт совсем не упрямство. Обрел голос тот безмолвный протест против сухого и черствого практицизма сестры, который годами назревал в душе Долли. Столкнулись два отношения к жизни, два полярно противоположных представления о том, что в жизни главное и самое ценное. Вирена оскорбляет Долли, и та уходит из дому в Приречный лес. Там, на старом платане, сооружен деревянный помост. Это «настоящий плот, плывущий по морю листьев». На нем и укрылись Долли, негритянка Кэтрин и мальчик Коллин. Обитатели городка сочли их поступок возмутительным и неприличным. Они устраивают против беглецов крестовый поход. Во главе вооруженной процессии, направляющейся в лес, идут священник Бастер, Вирена и шериф. Все они напоминают свору собак, окружившую дерево с загнанными опоссумами. Страсти разгораются. У беглецов появляются сторонники и защитники. «Плот» становится настоящим домом для тех, кто хоть как-то противостоит омертвляющей власти городка, для тех, кому нет места среди обывателей, возведших в норму жестокость, нечестность, хищничество. Сюда приходит старый судья Чарли Кул, потому что ему нечего больше делать в городе, «где всем заправляет банда политиканов». Сюда же приходит и молодой Райли Гендерсон — забияка, отчаянная голова и мастер на все руки. Дерево оказывается домом для всех, кого, как говорит Кул, свела беда. Общая беда позволила людям ближе узнать и полюбить друг друга. Конечно, в «древесном» доме жить нельзя. Он еще менее прочен и защищен от бурь, чем плот Гекльберри Финна и негра Джима, плывущий вниз по Миссисипи. Но именно здесь, в этом шатком пристанище, обездоленные поняли, что они сильнее своих преследователей, сильнее потому, что не боятся любви и верят ей, потому что обладают душою, «распахнутой для всего живого, потому что смеют быть самими собой».



В этой истине — урок повести, рассказанной Трумэнном Кэпотом. Конечно, он облегчил жизнь своим героям, дав повести почти сказочный конец. Судья и Долли — «двое детей, заблудившихся в темном лесу, где хозяйничает злая колдунья» — нашли друг друга и стали счастливее. А Вирена, наказанная предательством единственного друга, сломлена и просит помощи у великодушной Долли, в ее сестринской любви хочет она найти спасение. Трумэну Кэпоту эта сказочная ситуация нужна для того, чтобы утвердить свою веру в добро. Он даже не дает Долли додумать до конца внезапно возникшую у нее мысль: «Может быть, мир и вправду плохо устроен?» Неважно устроен, соглашается писатель, но, пока существуют мечтатели и гуманные, «детские» души, мир не погиб. А мечтать необходимо. Кэпот утверждает силу благородной, возвышающей, объединяющей людей мечты. Ведь «когда человек не может мечтать, он все равно что не может потеть, в нем накапливается яд», — говорит старый судья Кул.

Трумэна Кэпота нельзя назвать легковерным оптимистом. Он знает, как хрупко здание мечты и как она порою беззащитна перед «вихрями подлости», бушующими в современном мире. И, разумеется, читатель вправе спросить: не призрачна ли победа Долли, которая умирает в самый момент торжества?

Но ведь не все подвластно смерти, как бы отвечает автор повести: любовь, человечность бывают не только в сказках, они существуют в жизни и могут оставить глубокий след в душе; важно научиться быть человеком, любить, важно обрести и ту душевную зоркость, которая позволяет отличать истинные ценности от ложных.

«Голоса травы» как бы перечеркивают эпитафию, предпосланный повести «Иные голоса, иные комнаты». Щедрое, любящее, не склоняющееся перед злом и несправедливостью человеческое сердце, сердце Долли, вознесено на такую высоту, что Кэпот по праву может быть назван писателем-гуманистом.

«Голоса травы» упрочили известность Кэпота. Повесть была инсценирована и с успехом шла два года в одном из театров на Бродвее.

Двумя последующими своими повестями «Завтрак у Тиффани» (1958) и «Совершенно хладнокровно» (в русском переводе — «Обыкновенное убийство») (1965) Кэпот как бы подтверждает свое нежелание именоваться только «южным писателем» и стремление ближе подойти к проблемам современности. Создается впечатление, что прежние рамки уже тесны писателю и, хотя в новых его произведениях сохраняются старые, знакомые нам темы и характерные особенности его литературного стиля, он явно ищет новые возможности для своего творческого развития.

Знаменательно, что действие повести «Завтрак у Тиффани» происходит уже не в маленьком провинциальном городке, а в Нью-Йорке. Героиня ее, девятнадцатилетняя Холли Голайтли — тоже в чем-то ребенок, но она отличается от прежних героев писателя тем, что живет в реальном мире и обладает внутренней силой и стойкостью, она способна противостоять любым бедам. Ей уже немало пришлось испытать, но все той же легкой поступью идет она по жизни, твердо уверенная в одном: ничто не заставит ее поступиться светлым отношением к окружающему, пойти на компромисс. Главное в Холли неприятие лжи и притворства, чем она напоминает сэлинджеровского Холдена Колфилда. Правда, в отличие от него, Холли не отвергает материального достатка и комфорта, но она никогда не согласится заменять душу на доллары, перестать быть самой собой.

О том, как сердца и судьбы человеческие могут быть искорверканы в собственническом обществе, писатель рассказывает в документальной повести «Обыкновенное убийство», в основу которой положено действительное событие. В ноябре 1959 года была убита семья Клаттеров — мать, отец, пятнадцатилетний сын и шестнадцатилетняя дочь. Спустя семь недель после убийства арестовали преступников. Это были молодые люди Перри Смит и Дик Хикок. С Клаттерами до того рокового дня они никогда не встречались. О том, что Герберт Клаттер богат, Дик узнал в тюрьме от случайного соседа по камере. Оказавшись на свободе, Хикок и Смит сообща разработали детальный план убийства с целью ограбления.

Трумэн Кэпот почти шесть лет собирал материал — беседовал со знакомыми Клаттеров, следователями, преступниками, — и вот в 1965 году «Обыкновенное убийство» было опубликовано и вскоре стало «бестселлером». Приступая к работе, Кэпот поставил перед собой цель: попробовать силы в новой для него литературной форме — фактографическом произведении. Зарекомендовавший себя мастером в жанрах повести и новеллы, писатель пришел к мысли о необходимости внесения в литературу журналистики. Такая новая проза предполагает полное изъятие из повествования личности писателя. Однако, избрав форму внешне бесстрастного рассказа, Кэпот заставляет читателя думать, сопоставлять факты. Правда, он не подсказывает готовых ответов, но незаметно, умелым распределением «светотени», — интригуя читателя нарочитым умолчанием или, наоборот, подробно освещая ту или иную сторону события, — автор подводит его к важным выводам.

С удивительной тонкостью Кэпот внушает читателю, что и Клаттеры, и их убийцы — жертвы именно американского образа

жизни и мышления, вырождения в современной Америке столь громко разрекламированной Великой мечты о разумном, гармоничном обществе и о равных возможностях для всех. Теперь эта мечта — просто стремление к личному преуспеянию любой ценой, вплоть до убийства. Но главная тема Кэпота — социальное возмездие. Перри говорит о Клаттерах: «Они... не сделали мне ничего дурного. Другие постоянно делали зло. Может быть, поэтому они и должны были за все расплатиться». Именно потому, что Клаттеры были олицетворением равнодушной, замкнувшейся в себе богатой Америки, они и погибли.

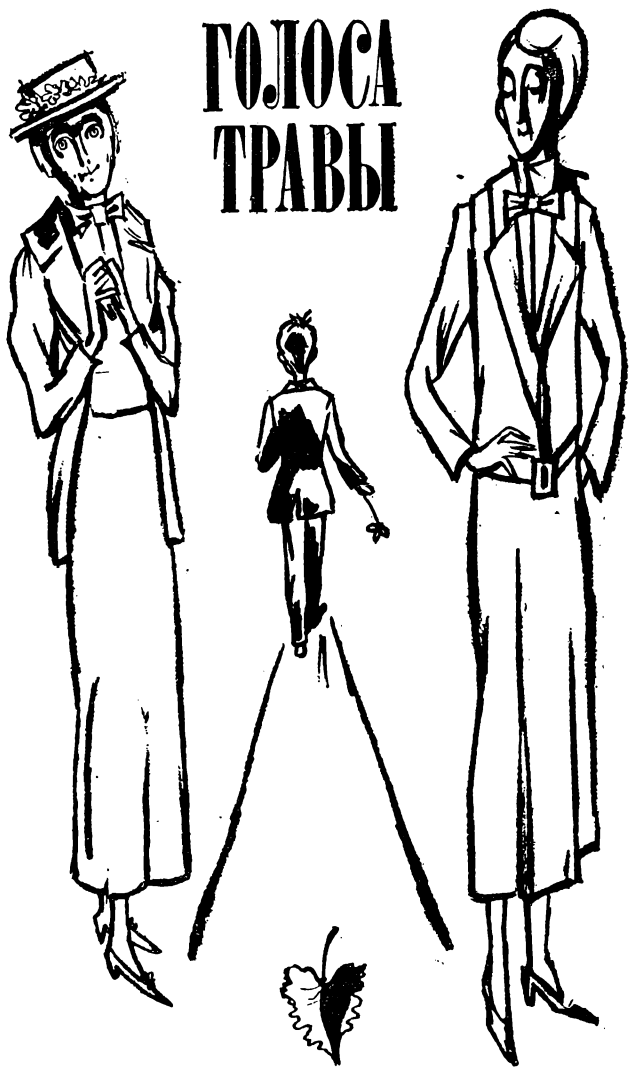
...Обычный, размеренный день. Ничто не предвещает трагических событий. Мистер Клаттер осматривает поля, сын поливает клумбу с мамиными цветами, дочь учит подругу печь пирог с вишнями, а Перри и Дик между тем готовят машину к поездке. Все как в известном стихотворении Харди: на верфях кипит работа, растёт, оснащается «Титаник», а где-то в океане уже глыблет роковой айсберг. Бедность и неустроенность Перри и Дика, их отверженность, все их обиды и страдания скоро перельются в «возмездие», и падут ни в чем не повинные, не имеющие врагов Клаттеры. Им никуда не уйти, потому что две Америки, воплощенные в убийцах и их жертвах, тесно связаны между собой. Как и Клаттеры, Перри и Дик — порождение буржуазной Америки. Совершая убийство, они мстят официальной Америке, которая лишила их возможности человеческого существования. Эта же Америка казнит их, когда они стали преступниками.

«Обыкновенное убийство» недаром сравнивают с «Американской трагедией» Драйзера. В свое время Драйзер писал о Клайде Гриффитсе: «У него была душа, которой не суждено было расти». Трумэн Кэпот в своей повести тоже пишет о людях, души которых исковерканы несправедливым устройством общества.

Среди американских критиков утвердилось мнение, что Т. Кэпот — писатель сложный, который творит для немногих. При этом они ссылаются на специфические особенности его творчества — любовь к символу и гротеску, камерность темы, усложненную метафоричность. Но «Голоса травы», многие рассказы Кэпота и его фактографическая повесть опровергают это утверждение. Американца Трумэна Кэпота волнуют важные общечеловеческие проблемы: он пишет о судьбе одиноких и страдающих, о разладе между мечтой и действительностью, о разрушающем душу влиянии несправедливости и о возможности победы доброго начала в человеке над злом равнодушия, эгоизма и разобщенности.

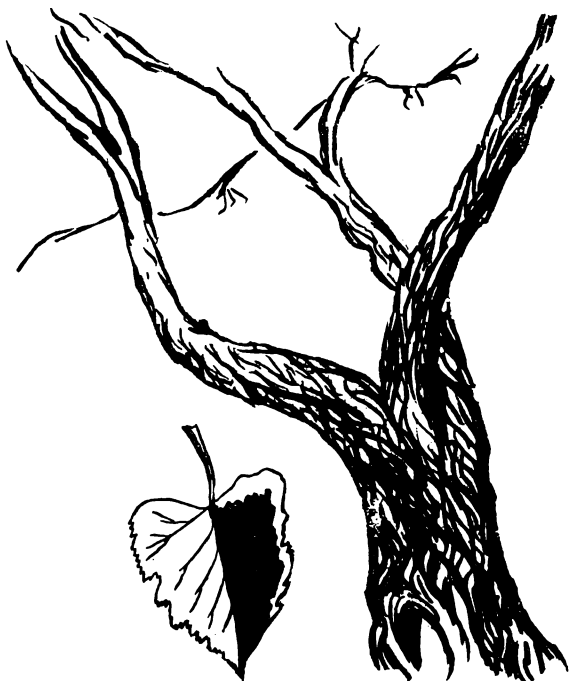
*М. Тугушева*

# ГОЛОСА ТРАВЫ



П О В Е С Т Ь





## Глава I

Когда ж я впервые услышал о луговой арфе? Задолго до памятной осени, когда мы ушли жить на платан; значит, какой-то другою осенью, раньше; и уж само собой — это Долли мне про нее рассказала; кто еще нашел бы такие слова: луговая арфа...

Если выйти из города по дороге, бегущей от церкви, вскоре вам бросится в глаза невысокая горка, вся в белых, как кости, надгробьях и выжженных солнцем бурых цветах. Это баптистское кладбище. Наша родня, Тэлбо и Фенвики, похоронена здесь; моя мать покоится рядом с отцом, а могилы всех родичей, десятка два или больше, расположились вокруг, как расходящиеся от ствола корни старой сосны. Под горкою — луг, он весь зарос высокой индейской травой, меняющей цвет с каждым временем года; приходите взглянуть на нее осенью, в конце сентября, когда она становится красной,

как закат, когда багряные тени, словно отблески пламени, проносятся над нею и осенние ветры перебирают ее засохшие листья, вызывая грустную музыку, — арфа, поющая человеческими голосами.

Сразу за лугом начинается сумрак Приречного леса. Должно быть, в один из таких вот сентябрьских дней, когда мы там, в лесу, собирали разные корешки, Долли сказала мне: — Слышишь? Звонит луговая арфа, день и ночь рассказывает трава одну из своих историй — ей известны истории всех людей там, на горке, всех людей, когда-либо живших на свете, и, когда мы умрем, она так же вот станет рассказывать наши истории...

После маминой смерти отец — он был коммивояжером — отдал меня в дом к двум своим незамужним кузинам, сестрам Тэлбо, Вирене и Долли. До тех пор меня к ним никогда не пускали. По причинам, в которых никто так и не смог до конца разобраться, Вирена и мой отец не разговаривали друг с другом. Должно быть, папа просил у Вирены займы, и она отказала; а может, она одолжила ему денег, и он их не отдал. Как бы там ни было, можете быть уверены: все вышло из-за денег — ничто, кроме денег, не могло иметь для них такого значения, особенно для Вирены. Она была богаче всех в городке: аптека, магазин готового платья, заправочная станция, бакалейная лавка, конторские помещения — все было ее, и нельзя сказать, чтобы, наживая это добро, она стала покладистым человеком.

В общем, папа сказал — ноги его больше не будет у нее в доме. Ну и ужасные же он вещи говорил про обеих дам Тэлбо! Один из слухов, которые он распустил, — будто Вирена гермафродит, — до сих пор еще ходит, а мисс Долли Тэлбо он без конца осыпал насмешками, так что даже мама не выдержала: и как ему только не стыдно, сказала она, издеваться над таким безобидным и кротким существом.

По-моему, они очень любили друг друга, отец с матерью. Она, бывало, плакала всякий раз, как он уезжал продавать свои холодильники. Когда они поженились, ей было шестнадцать; она не дожила и до тридцати. В тот день, когда она умерла, отец, выкрикивая ее имя, сорвал с себя всю одежду и выбежал раздетым во двор.

Вирена явилась к нам на другой день после похорон. Помню, я с ужасом глядел, как она шла по дорожке — тонкая, слово хлыст, красивая женщина: коротко под-

стриженные, тронутые сединой волосы, совершенно мужские черные брови, изысканная родинка на щеке. Она открыла парадную дверь и вошла в дом. После похорон папа ломал и расшвыривал вещи — не в припадке ярости, а спокойно и методично: войдет легким шагом в гостиную, возьмет в руки фарфоровую статуэтку, поглядит на нее в задумчивости — и бац о стену. Полы и лестницы были усыпаны осколками, всюду валялось столовое серебро, с перил свисала разорванная ночная рубашка — мамина.

Вирена мельком взглянула на весь этот хаос.

— Юджин, мне нужно сказать тебе несколько слов, — проговорила она своим энергичным, холодным, надменным голосом, и папа ответил:

— Ладно, Вирена, садись. Я так и знал, что ты явишься.

Под вечер пришла Доллина подруга Кэтрин Крик, собрала мои пожитки, и папа отвез меня в мрачный, величественный особняк на Тэлбо-лейн. Когда я вылезал из машины, он хотел было обнять меня, но я дико его боялся и вывернулся у него из рук. А сейчас мне так жаль, что мы с ним не обнялись тогда — через несколько дней по дороге в Мобил его машину занесло, и, пролетев пятьдесят футов, она свалилась в залив. Когда я снова его увидел, на глазах у него лежали серебряные доллары.

До тех пор никто не обращал на меня ни малейшего внимания, говорили только — слишком он мал для своего возраста, от земли не видать; а теперь люди стали указывать на меня, приговаривая, — вот беда-то какая, несчастный малец Коллин Фенвик! И я старался принять самый жалостный вид — понимал, что людям так нравится. Не было в городе человека, который не купил бы мне стаканчик мороженого или коробку воздушной кукурузы с патокой, а в школе я впервые стал получать хорошие отметки. Так что прошло порядочно времени, пока я настолько успокоился, чтобы заметить Долли.

И тогда я влюбился.

Вы только представьте себе, что это для нее было, когда в доме у них водворился я — шумливый одиннадцатилетний мальчишка, сующий во все свой нос. Заслышав мои шаги, она стремительно убегала, а уж если встречи нельзя было избежать, вся съеживалась, словно листики норичника. Долли была из тех людей, что умеют стать неприметными, как предмет обстановки, как



тени в углу, — людей, чье присутствие едва ощущаешь. Она носила бесшумную обувь, простые девичьи платья чуть не до пола. Хотя лет ей было больше, чем сестре, казалось — она приемыш Вирены, так же, как я. Вирена была центром нашего домашнего мироздания, и мы вращались вокруг нее, каждый по своей орбите, подчиняясь силе ее притяжения и направляемые ею.

В полу чердака — захламленного музея, где призраками маячили старые манекены из Вирениного магазина готового платья, — многие доски отставали, и, раздвигая их, можно было заглядывать почти во все комнаты. Доллина комната отличалась от остальных, забитых грузной и мрачной мебелью, — в ней всего-то и было, что кровать, письменный стол да стул. Совсем монашеская келья — только стены и все остальное выкрашено в какой-то диковинный розовый цвет, даже пол розовый.

Когда бы я ни подглядывал за Долли, она, стоя перед зеркалом, подстригала садовыми ножницами и без того короткие, соломенные с проседью волосы, а если не стриглась, то что-то писала карандашом в блокноте из грубой бумаги. Она то и дело слюнявила карандаш кончиком языка, а время от времени произносила вслух фразу, записывая ее. «Сладкого — конфет или чего другого — в рот не берите, а уж соль убьет вас наверняка». Теперь-то я могу вам сказать: она писала письма. Но поначалу эта ее переписка казалась мне страшно загадочной. Ведь единственной ее подругой была Кэтрин Крик, больше она ни с кем не встречалась и из дому не выходила, только раз в неделю отправлялась с Кэтрин в Приречный лес, где они собирали разные корешки, — Долли потом варила из них снадобье от водянки и разливала его по бутылкам. Позднее я обнаружил, что на ее зелье находились покупатели во всем штате — им-то и были адресованы ее многочисленные письма.

В Вирениной комнате, сообщавшейся с Доллиной узким коридором, все было, как в конторе: стол-бюро с крышечкой на роликах, целая библиотека grossбухов, картотеки. После ужина, надев зеленый козырек, Вирена обычно садилась за письменный стол — проверяла счета, листала grossбухи, пока не погаснут уличные фонари. Хотя она со многими поддерживала отношения — дипломатического и политического свойства, — близких друзей у нее не было. Мужчины ее побаивались, сама же она как будто побаивалась женщин. За несколько

лет перед тем Вирена сильно привязалась к веселой светловолосой девушке по имени Моды-Лора Мэрфи — одно время она работала у нас на почте, а потом вышла замуж за виноторговца из Сент-Луиса. Вирена очень тяжело переживала эту историю; она объявила во всеуслышание, что этот самый муж — ничтожество. Вот почему для всех был такой неожиданностью ее свадебный подарок молодым — поездка к Большому Каньону, где они должны были провести свой медовый месяц. Моды с мужем так и не вернулись; они открыли заправочную станцию неподалеку от Большого Каньона и время от времени посылали Вирене свои снимки. Их карточки были для нее радостью и горем. Иной раз по вечерам она так и не открывала своих грессбухов — сидит, уронив голову на руки, и снимки разложены перед ней на столе. А потом уберет их, погасит свет и вышагивает по комнате, и вдруг оттуда доносится ржавый рыдающий звук — словно она споткнулась и упала впотьмах.

Та сторона чердака, откуда я мог бы заглядывать в кухню, была надежно ограждена от меня — здесь были нагромождены сундуки, огромные, словно кипы хлопка. В ту пору мне больше всего хотелось разнюхать, что происходит на кухне, — именно там была сосредоточена вся жизнь дома. Долли проводила на кухне большую часть дня, болтая со своей приятельницей Кэтрин Крик. В детстве, оставшись сиротой, Кэтрин Крик была взята в услужение к мистеру Урии Тэлбо, и они выросли вместе — Кэтрин и сестры Тэлбо — на старой ферме, где теперь железнодорожный склад. Долли она называла «лапушка», а Вирену — не иначе как «эта самая». Жила Кэтрин на заднем дворе, в крытом железом домишке, серебрившемся среди подсолнухов и шпалер с каролинской фасолью. Кэтрин уверяла, что она индианка, но люди только подмигивали в ответ — черна она была, как ангелы Африки. Впрочем, кто ж ее знает, — может, это и правда; одевалась она, безусловно, как истая индианка — то есть носила бирюзовые бусы, а румяна накладывала таким толстым слоем, что от одного взгляда на нее глазам становилось больно; щеки ее пламенили, словно негаснувшие буферные фонари. Зубов у Кэтрин почти не осталось; она подпирала челюсти ватными катышками, и Вирена, бывало, сердилась:

— Черт возьми, ты же, Кэтрин, слова путем не говоришь, так скажи на милость, отчего ты не сходишь

к доку Крокеру — пусть бы втиснул тебе в пасть какие ни на есть зубы!

И правда, понять, что она говорит, было трудно. Одна только Долли могла бегло перевести совершенно невнятное шамканье своей подруги. Впрочем, с Кэтрин довольно было того, что ее понимает Долли: они всегда были вместе и все, что им хотелось сказать, говорили друг другу. В своем чердачном укрытии, припав ухом к балке, я мог слышать дразнящий шум их голосов — он тек сквозь старое дерево, словно кленовый сироп.

Лезть на чердак приходилось по лесенке через бельевую: потолок ее служил крышкой чердачного люка. Как-то раз, занеся ногу над ступенькой, я вдруг заметил, что крышка люка откинута. Я прислушался. Сверху доносилось блаженное мелодичное мурлыканье. Звуки были приятные: так напевают себе под нос маленькие девочки, играя в одиночестве. Я собрался было удрать, но тут мурлыканье прекратилось, и чей-то голос спросил:

— Кэтрин?

— Коллин, — ответил я и высунулся из люка.

Лицо Долли, всегда казавшееся мне большой снежинкой, на этот раз сохранило свои очертания, оно не растаяло у меня на глазах.

— Так вот ты куда забираешься, а мы-то все гадали... — сказала она шелестящим, мнущимся, как папиросная бумага, голосом. У нее были глаза незаурядного человека — лучистые, прозрачные глаза, отливающие зеленью, как мятный мармелад. Глядя на меня в чердачном полумраке, они робко признавались: я вижу, ты ничего против меня не затеваешь...

— Вот ты куда ходишь играть! Так я и говорила Вирене — тебе будет у нас одиноко.

Наклонясь над бочонком, она шарила в его глубине.

— Ну вот что, ты можешь мне подсобрать — поройся-ка в другом бочонке. Я ищу коралловый замок, а еще — мешочек с разноцветными камешками. Думаю, Кэтрин по душе придется такой подарок — аквариум с золотыми рыбками, как по-твоему? Это ей ко дню рождения. Жили у нас когда-то в этом аквариуме тропические рыбки; и вот ведь черти какие — сожрали друг дружку. А я еще помню, как мы их покупали, — мы тогда за ними в самый Брутон ездили, за шестьдесят миль. До того я ни разу за шестьдесят миль не ездила и не знаю, доведется ли еще когда. Смотри-ка, вот он, замок.

А мне вскоре попались и камешки — они смахивали на кукурузные зерна и на драже, и я протянул ей мешочек:

— Конфетку хотите?

— Вот спасибо,— сказала она.— Люблю конфеты, даже если на вкус они — камешки.

Мы были друзьями — Долли, Кэтрин и я. Сперва мне было одиннадцать, потом стало шестнадцать. И хотя лично мне особенно нечем похвастать, это были славные годы. За все время я ни разу никого не привел в дом на Тэлбо-лейн, да мне и не хотелось. Однажды я пригласил в кино одну девочку, и, когда мы возвращались, она спросила — нельзя ли зайти к нам, попить воды. Если б я думал, что ей и вправду хочется пить, то сказал бы — пошли; но я знал, она это нарочно, просто чтобы зайти в дом, поглядеть, что и как, — людям всегда хочется поглядеть, — вот я и сказал ей, пускай потерпит до своего дома. А она мне:

— Всему свету известно: у Долли Тэлбо винтиков не хватает и у тебя тоже.

Мне эта девчонка здорово нравилась, но я все равно ей наподдал, и она сказала — ничего, ее брат разукрасит мне вывеску; и он-таки разукрасил: у меня до сих пор шрам в углу рта, так он двинул меня бутылкой из-под кока-колы.

Я знаю: в городе говорили, что Долли — Виренин крест, а еще говорили — в доме на Тэлбо-лейн много такого творится, чего люди и вообразить-то не могут. Может, и так. Но все ж это были славные годы.

В зимние дни, когда я возвращался из школы, Кэтрин спешила открыть банку с вареньем, Долли ставила на плиту большой кофейник, а в духовку — сковороду с лепешками, и, когда духовка распахивалась, оттуда шел запах горячей ванили; Долли ела одно только сладкое и вечно пекла — торт, булку с изюмом, какое-нибудь печенье — или варила помадку. Овощей она в рот не брала, а из мяса любила только цыплячий мозг — крошечная такая штука, величиной с горошину, ее и распробовать не успеешь. В кухне топились плита и камин, и она была теплая, как коровий язык. Зиме только и удавалось, что разрисовывать окна ледяным голубоватым дыханием. Если какому-нибудь волшебнику взду-

мается сделать мне подарок, пусть даст мне бутылку, полную звуков той кухни — раскатов смеха и шепота пламени; бутылку, наполненную до краев ее запахами — сладкими, масляными, сдобными; впрочем, от Кэтрин пахло, как от свиньи по весне.

С виду это была скорее уютная гостиная, а не кухня: кресла-качалки, на полу локутный ковер, на стенах картинки — кошачьи мордочки, — предмет увлечения Долли; был там горшок с геранью — она цвела и цвела круглый год, а на покрытом клеенкой столе стоял аквариум, и золотые рыбки Кэтрин, помахивая хвостами, медлительно проплывали сквозь порталы кораллового замка. Иногда мы складывали картинки-загадки, поделив между собой составные куски, и Кэтрин потихоньку прятала наши, когда ей казалось, что кто-нибудь кончит раньше нее. А еще они помогали мне готовить уроки. Вот была морока! Долли была умудренной во всем, что касалось природы, — она обладала инстинктом пчелы, умеющей отыскать медоносный цветок, грозу предсказывала за сутки, наперед знала, будет ли плодоносить смоковница, могла найти грибное место, дупло с диким медом, яйца цесарки в хитро запрятанном гнезде; оглядываясь по сторонам, она нюхом чуяла, что творится вокруг. Но когда доходило до моих уроков, тут она была так же невежественна, как Кэтрин.

— Америка так и называлась Америкой еще до того, как Колумб объявился. Уж это само собой ясно. А то откуда бы ему знать, что тут Америка?

И Кэтрин подтверждала:

— Верно. Америка — древнее индейское слово.

С Кэтрин было еще трудней, чем с Долли: она требовала, чтобы ее считали непогрешимой, и если, бывало, не запишешь все слово в слово, как она говорит, сразу взъярится и прольет кофе или еще что-нибудь. Но я перестал ее слушать после того, как она наплела про Линкольна, будто он был отчасти негр, 'отчасти индеец и только самую чуточку белый. Я и то знал, что это чушь. Но перед Кэтрин я в особом долгу: если бы не она, кто знает, может, я так и не дорос бы до нормальных размеров. В четырнадцать лет я был чуть побольше Бидди Скиннера, а ведь его, говорят, приглашали работать в цирке. Но Кэтрин твердила — не тревожься, милоч; нужно тебя маленько вытянуть, только и всего. И она тянула меня за руки и за ноги, изо всех сил дергала за

голову, будто это яблоко на неподатливой ветке. Верьте — не верьте, а за два года она вытянула меня на двадцать пять сантиметров — от ста сорока пяти до ста семидесяти; я могу доказать это по зарубкам, которые делались хлебным ножом на дверях кладовой. Ведь даже сейчас, когда многое безвозвратно ушло, когда в печке гуляет ветер и в кухне властвует зима, эти отметины — свидетельство моего роста — все еще там.

Хотя в общем-то Доллино зелье, видимо, шло на пользу ее пациентам, время от времени приходило письмо, где говорилось — дорогая мисс Тэлбо, больше нам снадобья от водянки не надо, потому как бедная сестрица Белл (или кто там еще) на прошлой неделе отдала богу душу, царствие ей небесное. В таких случаях кухня погружалась в траур. Сложив руки на животе и покачивая головами, обе мои подружки уныло перебирали все обстоятельства дела, и Кэтрин говорила — что ж поделаешь, лапушка, мы-то старались изо всех сил, да, видно, господь судил иначе. А еще настроение в кухне портилось из-за Вирены — она беспрестанно вводила все новые правила или же заставляла нас соблюдать старые: делай то, не делай этого, прекрати, сейчас же начни. Словно мы были часы, и она то и дело поглядывала на нас — не расходится ли наше время с ее собственным, и горе нам, если мы спешили на десять минут или опаздывали на час: Вирена выскакивала, как кукушка из-за дверцы.

— Ох уж мне эта самая! — скажет, бывало, Кэтрин, а Долли в ответ: тихо ты, тихо, — словно пытается заглушить не ворчанье Кэтрин, а едва слышный мятежный шепот в себе самой.

Сдается мне, в глубине души Вирене хотелось почаще бывать на кухне, жить ее жизнью, но ведь она была как бы единственный мужчина в доме, полном детей и женщин, и ей оставался один только способ общения с нами — воинственные наскоки:

— Долли, вышвырни этого котенка, ты что, хочешь, чтоб у меня астма разыгралась? Кто оставил открытый кран в ванной? Кто сломал мой зонтик?

Когда на Вирену находило, ее скверное настроение едким желтым туманом пропитывало весь дом. Ох уж мне эта самая... Тихо ты, тихо...

Раз в неделю, чаще всего по субботам, мы отправлялись в Приречный лес. Для этих вылазок — а уходили мы на весь день — Кэтрин жарила цыпленка и фар-

шировала десяток яиц, а Долли прихватывала еще обливной шоколадный торт и кулек с помадками. Снарядившись таким образом и захватив с собой три порожних мешка из-под зерна, мы шли обычной дорогой мимо кладбища, потом через луг, где росла индейская трава. На самой опушке леса стоял платан с двойным стволом, — по сути дела, это были два дерева, но ветви их так тесно сплелись, что можно было переходить с одного на другое. В развилине были настланы доски. Получился древесный дом, поместительный, прочный, не дом, а загляденье — словно плот, плывущий по морю листвы. Построившие его мальчишки, если только они еще живы, теперь, должно быть, глубокие старики. Древесному дому было уже лет пятнадцать или все двадцать, когда Долли его углядела, а ведь это случилось за четверть века до того, как она показала его мне. Залезть туда было легче легкого — все равно что подняться по лестнице: наросты на коре служили ступеньками, а ухватиться можно было за крепкие плети дикого винограда, опутавшие стволы. Даже Кэтрин — а она была тяжеловата в бедрах и жаловалась на ревматизм — взбиралась наверх без труда. Но у Кэтрин не было любви к нашему дому на дереве. Ей не дано было знать, как знала Долли, от которой об этом узнал и я, что на самом-то деле это корабль и что, сидя там, наверху, ты плывешь вдоль туманного берега каждой своей мечты. Попомни мои слова, говорила Кэтрин, доски-то старые совсем, гвозди стерлись, скользкие стали, как черви, того и гляди все развалится. Вот грохнемся, расшибем себе головы, — будто я не знаю!

Спрятав провизию в доме на дереве, мы расходились в разные стороны с большими мешками для листьев, трав и каких-то неведомых корешков. Никто, даже Кэтрин, толком не знала, что входит в Доллино снадобье, — этой тайной она ни с кем не делилась, нам даже не разрешалось заглядывать к ней в мешок. Она крепко прижимала его к себе. Можно было подумать, что там у нее запрятан таинственный пленник, заколдованный маленький принц с синими волосами.

Вот что она мне рассказала: «Давным-давно, когда мы были детишками, — у Вирены в ту пору зубы еще не сменились, а Кэтрин была вот такая, не выше столбика от загородки, — в наших краях так и кишели цыгане; было их — словно птиц на кустах ежевики; не то

что сейчас — за весь год, может, пройдет один-другой, да и только. Приходили они по весне. Появлялись неожиданно-негаданно, как цвет на кизиле, — глядишь, а они уже тут: на дороге полно и в лесу. Ну, а наши мужчины вида ихнего выносить не могли; наш папа, твой двоюродный дедушка Урия, так и сказал: если он кого из них поймает у нас на участке, застрелит на месте. Вот потому-то я, если увижу — цыгане воду берут из ручья или старые пекановые орехи с земли таскают, — я никому ни гугу. И вот как-то вечером — дело было в апреле, и дождь лил всюю — побежала я в коровник: Резвушка только что отделилась; гляжу, в коровнике три цыганки — две старые, одна молодая, и молодая лежит нагишом на мякине, ее всю так и корчит. Как увидели они, что я нисколько не испугалась и звать никого не стану, одна из старух попросила дать им огня. Побежала я в дом за свечой, а вернулась — вижу: старуха, та самая, что меня послала, держит за ноги ребеночка вниз головой, он весь красный, кричит, а другая старуха доит нашу Резвушку. Ну, помогла я им вымыть ребеночка парным молоком, завернули мы его в шаль. Тогда одна из старух взяла меня за руку и говорит — я тебя сейчас отдарю: научу одно зелье варить. И сказала стишок. А в том стишке было про кору падуба и про стрекозиный папоротник — про все, что мы теперь здесь, в лесу, собираем: *Кипяти до черноты, отцеди и вылей в склянки — будет зелье от водянки.*

Утром они ушли; я их искала повсюду — и в поле, и на дороге, — нигде ни следа, только от них и остался тот стишок, что я затвердила...»

Громко переключаясь, ухая, словно выпущенные на яркий свет филины, мы прилежно трудились все утро в разных концах леса. После полудня, когда наши мешки разбухали от корья и нежных израненных корешков, мы забирались в зеленую паутину платана и раскладывали еду. У нас была с собой банка из-под варенья с вкусной водой из ручья, а в холодные дни — термос с горячим кофе, и мы листьями вытирали масляные отцыпыленка и липкие от помадок руки. А потом гадали по цветам, толковали о разных разностях, нагоняющих дрему, и казалось нам — мы плывем сквозь день на плоту среди ветвей нашего дерева. Мы с этим деревом были одно, как серебрившаяся на солнце листва, как обитавшие в ней козодои.



Раз в год я прихожу к дому на Тэлбо-лейн и брожу по двору. Недавно я снова побывал там и наткнулся на старый железный чан. Перевернутый кверху дном, он чернеет в бурьяне, словно метеорит. Долли... Долли, склоняясь над чаном, сыплет в кипящую воду содержимое наших мешков и помешивает, помешивает соструганным метловищем бурое, как табачная жвачка, варено. Свое снадобье она составляла сама — мы с Кэтрин только стояли и глядели, как на выучке у знахарки. Наша помощь требовалась позднее — мы разливали его по бутылкам, и, так как обычные пробки из них потом вышибало, моим делом было скатывать затычки из туалетной бумаги. Наш сбыт составлял в среднем шесть бутылок в неделю, по два доллара за бутылку. Деньги эти, как Долли считала, — наши общие, и мы тратили их сразу же, как только получали. Обычно заказывали всякую всячину по журнальным рекламам: «Учитесь резьбе по дереву — купите набор «Парчизи»; «Игра для молодых и старых: из базуки может выстрелить каждый». Как-то мы выписали учебник французского: я рассудил, что, если мы выучимся по-французски, у нас будет свой секретный язык; тогда нас никто не сумеет понять — и Вирена тоже. Долли была не прочь попробовать, но дальше «Passez — moi ложку» она не пошла, а Кэтрин затвердила «Je suis fatigué» и больше учебника не открывала. Все, что ей нужно, она уже знает, объяснила она.

Вирена не раз говорила — если кто-нибудь этим зельем отравится, будет беда, но в общем особого интереса к нашему снадобью не проявляла.

Как-то мы подсчитали свою выручку за год, и выяснилось — мы заработали столько, что нам надо бы платить подоходный налог. Вот тут-то Вирена и принялась задавать вопросы. Ведь деньги были ее добычей, она шла по их следу бесшумным шагом бывалого охотника, зорко подмечающего в пути каждую сломанную ветку. Что входит в состав лекарства? — выспрашивала она. Но Долли, хоть и была польщена и только что не пофыркивала от удовольствия, знай отмахивалась: да так, говорила она, то да се, а в общем — ничего особенного...

Вирена сделала вид, что поставила крест на этом деле. Но как часто во время ужина она в раздумье поглядывала на Долли, а однажды, когда мы стояли на заднем дворе у кипящего чана, я случайно взглянул на ее

окно — Вирена следила за нами, не отрывая глаз: к тому времени ее план, должно быть, созрел окончательно, но действовать она начала только летом.

Два раза в году, в январе и августе, Вирена ездила за покупками в Сент-Луис или в Чикаго. В то лето — мне тогда как раз минуло шестнадцать — она поехала в Чикаго и две недели спустя вернулась оттуда с одним человеком, неким доктором Моррисом Ритцем. Всем, ясное дело, не терпелось узнать, кто он такой, этот доктор Ритц. Носил он галстуки бабочкой и пижонские костюмы самых броских цветов. Губы синие, сверлящие глазки поблескивают, как фольга, в общем — мерзкая крыса. Говорили, что он занимает лучший номер в отеле «У Лолы» и заказывает в кафе Филадельфии бифштексы на обед. Днем он бродил по улицам, резко поворачивая вслед каждому встречному сверкающую, напомаженную голову. Но компании ни с кем не водил и на людях появлялся только с Виреной. Хотя, надо сказать, в дом она его ни разу не приводила и даже имени его не упоминала, пока однажды Кэтрин, набравшись нахальства, не спросила ее:

— Мисс Вирена, а кто он такой, этот докторишка, Моррис Ритц? До чего же потешный!

И тут у Вирены побелели губы, и она раздраженно сказала:

— Ну, я могла бы назвать одну особу... Так она куда потешней.

Стыд и срам, говорили в городе, что Вирена связалась с этим еврейчиком из Чикаго. Но всему он еще лет на двадцать моложе ее. Прошел слух, что они кое-чем занимаются на заброшенном консервном заводе в другой части города. Как выяснилось потом, они там действительно кое-чем занимались, но вовсе не тем, что имела в виду вся эта шатия в бильярдной... Почти каждый день можно было видеть, как Вирена и доктор Ритц шествуют к консервному заводу — заброшенной кирпичной развалине с выбитыми стеклами и покосившимися дверями. Вот уже лет тридцать к нему никто близко не подходил, кроме школьников, бегавших туда курить сигареты и баловаться. А потом — дело было в начале сентября — мы вдруг узнаем из заметки в «Курьере»: Вирена купила этот самый консервный завод. Но что она с ним собирается делать, там сказано не было.

Через несколько дней Вирена велела Кэтрин заре-

вать двух цыплят — в воскресенье она ждет к обеду доктора Морриса Ритца.

За все годы, что я у них прожил, доктор Ритц был единственным человеком, удостоившимся приглашения отобедать в доме на Тэлбо-лейн. Так что в силу ряда причин это было событие чрезвычайное. Кэтрин и Долли затеяли уборку, как перед пасхой: выбивали ковры, достали парадный сервиз с чердака, во всех комнатах стоял запах лимонной мастики и воска. Обед предполагался такой: жареные цыплята и окорок, зеленый горошек и бататы, сдоба и банановый пудинг, два торта и пломбир «тутти-фрутти» из аптеки-закусочной. В воскресенье около полудня Вирена зашла домой взглянуть на стол. В центре его стояла низкая ваза с чайными розами, тесно и прихотливо было разложено фамильное серебро. Можно было подумать, что стол сервирован на двадцать персон; на самом же деле стояло всего два прибора. Вирена тотчас же поставила еще два, и тогда Долли сказала упавшим голосом — что ж, если Коллин хочет обедать в столовой — пожалуйста, а она остается с Кэтрин на кухне. Но Вирена была непреклонна:

— Не валяй дурака, Долли. Дело важное. Моррис приходит специально, чтобы с тобой познакомиться. И, пожалуйста, выше голову, сделай такую милость. На тебя смотреть тошно.

Долли перепугалась насмерть: она забилась к себе в комнату, и спустя порядочно времени после прихода гостя Вирене пришлось меня за ней посылать. Долли лежала на розовой кровати с мокрой тряпкой на лбу. Рядом сидела Кэтрин, разряженная и разубранная, нарумяненные щеки рдеют леденцами, ваты во рту напихано еще больше, чем всегда.

— Встань, ягодка, испортишь свою красивую обновку, — уговаривала она Долли.

Долли приподнялась, расправила ситцевое платье, которое ей привезла из Чикаго Вирена, но тут же снова легла.

— Если б Вирена только знала, как мне совестно... — беспомощно проговорила она, и тогда я пошел и сказал Вирене, что Долли захворала. Но Вирена сказала — она сама разберется и решительным шагом вышла из холла, оставив меня наедине с доктором Моррисом Ритцем.

Ох, до чего ж он был поганый!

— Так, значит, тебе шестнадцать,— сказал он и подмигнул мне своими сальными глазками, сперва одним, потом другим.— И ты забавляешься сам с собой? Заставь-ка старую леди в другой раз взять тебя в Чикаго — вот там есть с кем позабавиться!

Тут он прищелкнул пальцами и стал притоптывать ногами в остроносых фасонистых туфлях, словно в такт развеселому мотивчику из какого-нибудь реву. Он вполне мог сойти за чечеточника или продавца газировки, если бы не портфель, наводивший на мысль о более серьезной профессии. Я подумал — если он считается доктором, то доктором чего, и совсем было собрался его спросить, но тут возвратилась Вирена. Она вела Долли, крепко держа ее за локоть.

На этот раз Долли не удалось слиться с тенями холла, с его мебелью в мягкой обивке. Не поднимая глаз, она протянула руку, доктор Ритц буквально вцепился в нее и принялся так энергично трясти, что Долли чуть не упала.

— Привет, мисс Тэлбо! Для меня большая честь познакомиться с вами! — воскликнул он наконец и подергал галстук-бабочку.

Сели за стол. Кэтрин внесла блюдо с цыплятами и стала нас обносить. Подала Вирене, потом Долли, а когда подошел черед доктора, он объявил:

— По правде сказать, из всей курицы я признаю только мозг. Надеюсь, нянюшка, ты не оставила его в кухне?

В ответ Кэтрин уставилась на свой нос — даже глаза стали косить. Потом, путаясь языком в катышках ваты, прошамкала:

— Эти мозги Долли взяла, они у ней на тарелке.

— Ох, этот мне южный выговор! — с неподдельным ужасом воскликнул доктор Ритц.

— Она говорит, мозги у меня на тарелке,— объяснила Долли, и щеки ее стали краснее, чем румяна Кэтрин.— Но позвольте мне положить их вам.

— Ну, если вы в самом деле не возражаете...

— Нисколько не возражает,— вмешалась Вирена.— И вообще, она ест только сладкое. Вот возьми-ка пудинга, Долли.

Вдруг доктор Ритц расчихался:

— Ох... Эти цветы... Розы эти... Давнишняя аллергия...

— О, господи! — всполошилась Долли и, увидав, что представился повод сбежать на кухню, схватила хру-

стальную вазу с розами. Ваза выскользнула и разбилась, розы шлепнулись в соус, соус выплеснулся на нас.

— Вот видишь,— сказала она едва слышно, и слезы выступили у нее на глазах.— Вот видишь, все это безнадежно.

— И вовсе не безнадежно, Долли. Сядь и доешь свой пудинг,— наставительно сказала Вирена, и в голо-се ее слышался металл.— И потом, у нас есть для тебя маленький сюрприз. Моррис, покажите-ка Долли наши красивые этикетки!

Доктор Ритц перестал счищать соус с рукава.

— Ладно, дело поправимое,— буркнул он. Потом вышел в холл и вернулся с портфелем. Пальцы его быстро шарили в ворохе шелестевших бумаг, пока не нащупали плотный большой конверт; он извлек его из портфеля и протянул Долли.

В конверте были треугольные этикетки — женщина в пестрой шали, с круглыми золотыми серьгами, а поверху — броская оранжевая надпись: «Зелье старой цыганки изгоняет водянку».

— Первый класс, а? — сказал доктор Ритц.— Сработано в Чикаго. Картинку мой приятель нарисовал, он художник — что надо, этот парень.

Растерянно, с опаской Долли перебирала этикетки, пока наконец не раздался голос Вирены:

— Ты недовольна?

Этикетки запрыгали у Долли в руках.

— Что-то я не совсем понимаю...

— Отлично понимаешь,— ответила Вирена с жидкой улыбкой.— Все ясно, как день. Я рассказала Моррису давнишнюю твою историю, и он придумал эту замечательную надпись.

— «Зелье старой цыганки изгоняет водянку» — вот это название. Так сразу и прилипает! — сказал доктор Ритц.— На рекламе выглядит колоссально.

— Это вы про мое лекарство? — спросила Долли, все еще не поднимая глаз.— Но мне не нужны наклейки, Вирена. Я сама их подписываю.

Доктор Ритц даже пальцами прищелкнул:

— Нет, это здорово! Отпечатаем этикетки с надписью от руки, ее собственным почерком! Так будет интимней — ясно?

— Мы и без того уже основательно потратились,— бросила Вирена и повернулась к Долли: — На этой не-

деле мы с Моррисом едем в Вашингтон — получать авторское право на этикетки. И потом, надо зарегистрировать патент на лекарство. Разумеется, там будет написано, что это ты его открыла. А теперь вот что, Долли: сядь-ка и напиши нам подробно его состав.

Лицо Долли вдруг потеряло обычные очертания. Этикетки упали, рассыпались по полу. Упираясь руками в стол, она медленно поднялась. Постепенно лицо ее стало твердым, она вскинула голову и, прищурившись, посмотрела сперва на доктора Ритца, потом на Вирену:

— Не выйдет,— тихо проговорила она. Подошла к двери, взялась за ручку.— Не выйдет. Не имеешь права, Вирена. И вы, сэр, не имеете права.

Я помог Кэтрин убрать со стола. Розы были загублены, торты не нарезаны, к овощам так никто и не притронулся. Вирена ушла из дому вместе со своим гостем. Из окна кухни мы смотрели, как они шли к городу,— то покачивали головами, то энергично кивали. Потом мы нарезали обливной шоколадный торт и унесли его в Доллину комнату.

— Тихо ты, тихо! — сказала она, когда Кэтрин принялась крыть эту самую на чем свет стоит. Но, казалось, мятежный шепот, который она заглушала в себе, перешел в хриплый вопль, и ей надо перекричать его, и она все твердила — тихо ты, тихо, и, наконец, Кэтрин обняла ее и тоже сказала — тихо!

Мы вытащили колоду карт, разложили их на кровати. Кэтрин, ясное дело, не преминула напомнить, что сегодня воскресенье. Нам-то, может, не так уж опасно заполучить еще одну черную галочку в Книге Страшного суда, а у нее и без того их хватает. Поразмыслив над этим, мы решили гадать по руке.

Уже смеркалось, когда домой возвратилась Вирена. Из холла до нас донеслись ее шаги. Она вошла в комнату, не постучавшись, и Долли, гадавшая мне по руке, крепко сжала мою ладонь.

— Коллин, Кэтрин, мы вас не задерживаем...— сказала Вирена.

Кэтрин хотела было забраться вместе со мной на чердак, но вспомнила, что на ней нарядное платье. Так что я полез один. В полу была порядочная дыра от выпавшего сучка — как раз над розовой комнатой. Но прямо

под дыркой стояла Вирена, и сверху мне была видна только ее широкополая соломенная шляпа с гроздью пластмассовых плодов — она надела ее, еще когда уходила из дому.

— Таковы факты,— говорила Вирена, и пластмассовые плоды колыхались, поблескивая в сизом сумраке.— Две тысячи — за старый завод; Билл Тейтем с четырьмя плотниками уже работают там по восьмидесяти центов в час. На семь тысяч заказано оборудования. Я уж не говорю о том, во что обходится такой специалист, как Моррис Ритц. А ради кого? Все ради тебя!

— Ради меня? — прозвучал голос Долли, печальный и угасающий, как последние отсветы дня. Ее тень передвинулась с одного конца комнаты на другой.— Мы с тобой — одна плоть. И я нежно тебя люблю, всем сердцем люблю. Сейчас я могла бы это тебе доказать — отдать то единственное, что считаю своим. Ведь больше у меня в жизни не было ничего своего... Тогда уже все мое станет твоим. Вирена, прошу тебя,— голос ее задрожал,— не отбирай единственное, что у меня осталось.

Вирена щелкнула выключателем.

— Это ты-то все отдаешь! — Голос ее был резким, как этот внезапный, злой, ослепляющий свет.— Все эти годы я работала, как поденщица. Разве я не давала тебе решительно все? И кров и...

— Да, ты давала мне все,— тихо вставила Долли,— и Коллину и Кэтрин. Но ведь мы тоже как-то себя оправдывали: старались делать все, чтоб у тебя был уютный дом, разве не так?

— О, не дом, а мечта! — подхватила Вирена и сорвала с себя шляпу. Лицо ее налилось кровью.— Уж вы расстарались — ты и твоя шепелявая дура. А тебе ни разу на ум не пришло — почему я никого не зову в этот дом? Да по очень простой причине: мне стыдно. Ты вспомни, что было сегодня!

Я почувствовал — у Долли перехватило дыхание.

— Прости,— едва слышно выговорила она.— Я ведь правду говорю: я всегда думала, что для нас в этом доме есть место. Что ты хоть немножко нуждаешься в нас. Ну что ж, Вирена, теперь здесь все будет, как надо. Мы отсюда уйдем.

Вирена вздохнула.

— Бедная Долли... Бедняжка ты, бедняжка... Ну куда ты пойдешь?

Ответ прозвучал не сразу, неуверенный, как полет мотылька:

— Я знаю такое место...

Потом я лежал в постели и ждал, когда Долли придет поцеловать меня на ночь. В моей комнате, расположенной за гостиной, в самой глубине дома, прежде жил их отец, мистер Урия Тэлбо. Дряхлым, выжившим из ума стариком Вирена привезла его сюда с фермы. Здесь он и умер, не сознавая, где находится. Хотя со дня его смерти прошло лет десять, а то и пятнадцать, матрац и шкаф все еще были пропитаны стариковским запахом табака и мочи, а в шкафу на полке хранилась единственная вещь, которую он привез с собой с фермы, — маленький желтый барабан. Пареньком моих лет он маршировал с полком южан, выбивал дробь на маленьком желтом барабане и распевал песни. Долли рассказывала — девочкой она любила проснуться зимним утром и слушать, как отец ходит по дому, растапливая печи, и поет. С тех пор он успел состариться и умереть, но его пение иной раз слышалось ей среди луга, сплошь заросшего индейской травой... Ветер, — скажет, бывало, Кэтрин; а Долли ей: но ведь ветер — это мы сами и есть, он вбирает все наши голоса, запоминает их, а потом, шевеля листву на деревьях и травы в полях, заставляет их говорить нашими голосами, рассказывать наши истории. Я слышала папу так ясно — ясней быть не может...

В такую вот сентябрьскую ночь осенние ветры волнами пробегают по упругой красной траве, высвобождая давно умолкшие голоса, и я подумал — поет ли вместе с ними и он, тот старик, в чьей постели я сейчас засыпаю...

Я решил, это Долли наконец-то пришла поцеловать меня на ночь, потому что явственно ощутил — она здесь, в комнате, рядом со мной; но уже начиналось утро, первые блики света были, как золотившаяся листва за окном, и в дальних дворах громко кричали петухи.

— Ш-ш-ш, Коллин, — прошептала Долли, склоняясь надо мной. Она была в зимнем шерстяном костюме и в шляпе с дорожной вуалью, дымкой застилавшей ей лицо. — Я только хочу, чтобы ты знал, куда мы уходим.

— В дом на дереве? — спросил я, и мне казалось, я говорю во сне.

Долли кивнула: — Только на первое время. Пока не надумаем, как нам быть дальше.



Она поняла, что я испугался, и положила мне руку на лоб.

— Вы с Кэтрин? А я как же? — Меня бросило в дрожь. — Не можете вы уйти без меня!

На башне суда начали бить часы. Долли словно дожидалась, пока они смолкнут, чтобы только тогда принять решение. Пробило пять, и, когда замер последний удар, я уже стоял на полу, торопливо натягивая одежду. Долли только и оставалось сказать:

— Не забудь гребешок.

Кэтрин поджидала нас во дворе. Она вся согнулась под тяжестью битком набитой клеенчатой сумки; глаза у нее распухли, видно было, что она плакала, а Долли, странно спокойная и уверенная, говорила ей — ничего, Кэтрин, мы пошлем за твоими рыбками, как только найдем, где пристроиться.

Над нами темнели закрытые безмолвные окна Вирены. Мы тихонько прокрались мимо них и в молчании вышли за калитку. Залаяла собака, но улица была пуста, и никто не видел, как мы шли через город. Лишь арестант, которому не спалось, глазел на нас из окошка тюрьмы.

К лугу мы пришли вместе с солнцем. Утренний ветерок поднимал вуаль на Доллиной шляпе. Фазан и курочка, укрывшиеся в индейской траве, взметнулись у наших ног. Их отливающие металлом крылья с силой стегнули багровую, как петушиный гребень, траву. Наше дерево было словно чаша, расцвеченная сентябрем, зеленая и золотая. Вот грохнемся, вот расшибем себе головы, приговаривала Кэтрин, а вокруг нас, куда ни глянь, листья стряхивали росу.

## Глава II

Если б не Райли Гендерсон, едва ли кто-нибудь узнал бы, что мы ушли жить на дерево, — во всяком случае, так скоро.

Клеенчатая сумка Кэтрин была набита остатками воскресного обеда, и мы лакомились цыпленком и тортом, как вдруг по лесу прокатился треск выстрела. Мы так и замерли — торт застрял у нас в глотках. Внизу показалась легавая с лоснящейся шерстью, следом шел Райли Гендерсон: за плечом — ружье, на шее — гирлянда окровавленных, привязанных за хвосты белок. Долли

опустила вуаль, словно хотела остаться неузнанной и здесь, среди листвы.

Неподалеку от дерева Райли остановился, его настороженное загорелое мальчишеское лицо напряглось. Вскинув ружье, он повел дулом, словно выжидая, когда покажется дичь. Кэтрин не выдержала напряжения.

— Райли Гендерсон, — закричала она, — не вздумай нас подстрелить!

Дуло опустилось, он резко повернулся, и белки взметнулись вокруг его шеи, как широченное ожерелье. Тут он заметил нас и, помедлив немного, сказал:

— Эй, Кэтрин Крик, привет! Привет, мисс Тэлбо. А что вы, братцы, делаете там, наверху? На дикую кошку охотитесь?

— Просто так сидим, — поспешно проговорила Долли, словно боясь, как бы Кэтрин или я не ответили раньше нее. — А порядочно вы настреляли белок.

— Возьмите парочку, — сказал Райли, отвязывая двух. — Вчера мы зажарили несколько штук на ужин — до чего у них мясо нежное! Минутку, я вам сейчас их доставлю.

— Ну зачем же, кладите прямо на землю.

Но Райли сказал — нет, их съедят муравьи, и полез на дерево. Его голубая рубашка была вся забрызгана беличьей кровью; пятнышки засохшей крови поблескивали и в разлохмаченных волосах цвета ременной кожи. От него пахло порохом; простецкое, четко очерченное лицо загорело до цвета корицы.

— Черт меня побери, настоящий дом на дереве, — удивился он и топнул по дощатому настилу, словно испытывая его прочность.

А Кэтрин сказала — может, это покамест и дом, но коли эдак вот бухать ногами, вскорости от него ничего не останется.

— Это ты его построил, Коллин? — спросил Райли. Я так и опешил от радости, когда до меня дошло — ведь он назвал меня по имени! По правде, я думал, я для него все равно что пыль под ногами. Но я-то знал его, еще бы не знать! Ни об одном человеке в городе никогда еще столько не судачили, сколько о Райли Гендерсоне. Когда о нем заходил разговор, люди постарше удрученно покряхтывали, а те, кто был ближе к нему по возрасту, — взять хоть меня, — не упускали случая обозвать его скотиной и чурбаком. И все оттого, что он по-

зволюл нам только завидовать ему, он никому не давал полюбить его, стать его другом.

Вот что вам мог рассказать о нем любой человек в городе.

Родился он в Китае, отец его, миссионер, был убит там во время восстания. Мать была родом из нашего города, звали ее Роза. Самому мне увидеть ее не довелось, но, говорят, она была красавица, пока не стала носить очки; к тому же она была богата — ей досталось большое наследство от деда. Из Китая она вернулась с тремя детьми: Райли — ему было в ту пору пять лет — и двумя девочками моложе его. Поселились они у ее неженатого брата, мирового судьи Хорейса Холтона, тучного, желтого, как айва, человека с повадками старой девы. С годами у Розы Гендерсон появлялось все больше странностей: она грозила притянуть Вирену к суду за то, что купленное у нее в магазине платье после стирки село; чтобы наказать Райли, заставляла его скакать на одной ножке вокруг двора и при этом твердить вслух таблицу умножения; в остальное время он гонял без присмотра, и, когда пресвитерианский священник завел с ней об этом разговор, она объявила ему, что детей своих ненавидит и лучше бы они умерли. Как видно, она говорила это всерьез, потому что однажды утром, на рождество, заперлась в ванной и попыталась утопить двух своих девочек. Рассказывают, что Райли выломал дверь топориком — что ни говори, дело нелегкое для мальчишки лет девяти — десяти или сколько ему там было. После этой истории Розу увезли куда-то на побережье в психиатрическую лечебницу. Может, она и сейчас там живет; во всяком случае, о ее смерти мне слышать не доводилось. А Райли и его дядюшка Хорейс Холтон не поладили между собой. Как-то вечером Райли угнал машину Хорейса «олдсмобил» и покатил с Мэми Кертис в ресторан «Потанцуй-пообедай». Мэми была огонь-девчонка и к тому же лет на пять старше Райли — ему в то время было не больше пятнадцати. Ну так вот, Хорейс прослышал, что они развлекаются в «Потанцуй-пообедай» и надел на шерифа, чтобы тот отвез его туда на машине, сказал — Райли следует проучить, и уж он добьется, чтоб его засадили. А Райли и говорит — шериф, не того ловите, кого нужно. И тут же, при всем честном народе, обвинил своего дядюшку в том, что тот прикарманивает Розины деньги, предназначенные для

него и сестренки. Потом предложил решить дело дракой здесь же, на месте; Хорейс предпочел уклониться, и тогда Райли подошел и безо всяких дал ему в глаз. Шериф отправил Райли в тюрьму. Но судья Кул, старинный приятель Розы, начал судебное расследование, и тут выяснилось точно и определенно — Хорейс действительно прикарманил Розины денежки, постепенно переводя их на свой счет в банке. Так что Хорейс попросту собрал вещи, сел в поезд и укатил в Новый Орлеан. А через несколько месяцев до нас дошла весть — он объявил себя служителем культа любви и теперь занимается тем, что венчает парочки на прогулочном пароходе, совершающем рейсы по Миссисипи при лунном свете. С тех пор Райли сам себе хозяин. Заняв деньги под будущее наследство, он купил красную спортивную машину и стал лихо гонять по окрестностям поочередно со всеми шлюхами, какие были у нас в городке. Из приличных девушек в красной машине Райли появлялись лишь его сестры — в воскресенье под вечер он их обычно катал: чинно и медленно, раз за разом объезжал городскую площадь. Они были прехорошенькие, его сестры, но веселого видели мало — он следил за каждым их шагом, и мальчишки просто боялись к ним подходить. Работу по дому у них делала верная цветная служанка, а вообще они жили совсем одни. Со старшей, Элизабет, я учился в одном классе. Отметки она получала сплошь отличные. Сам Райли школу бросил, но он не был из тех бездельников, что вечно крутятся в бильярдной, и ни с кем из них не водил компании. Днем он охотился и удил рыбу; в старом холтоновском доме он многое переделал своими руками — был он хороший плотник и к тому же умелый механик: к примеру, сам смастерил автомобильную сирену, пронзительную, как паровозный свисток; по вечерам с шоссе доносился ее оглушительный вой — это Райли мчал на танцульку в соседний город. Как я мечтал стать его другом! И казалось бы, что тут невозможного — ведь он был всего на два года старше меня. Но мне хорошо запомнился единственный случай, когда он со мною заговорил: элегантно, в белом фланелевом костюме, он зашел по дороге на танцы в Виренину аптеку — я там иной раз помогал в субботу вечером — и спросил один пакетик. Но я толком не знал, что это за пакетик, так что пришлось ему зайти за прилавок и самому его достать: он рассмеялся — довольно

беззлобно, но уж лучше бы он разолился: ведь теперь ему ясно, что я кретин, — значит, нам не бывать друзьями.

— Райли, возьмите торта, — сказала Долли, и тогда Райли спросил — что это мы, всегда устраиваем пикники в такую рань? Потом сказал — это мысль, все равно что купаться по ночам. — Я прихожу сюда затемно, поплавать в речке. Когда опять устройте пикник, подайте голос — я буду знать, что вы тут.

— Приходите в любое утро, мы будем вам рады, — сказала Долли и подняла вуаль. — Думаю, мы тут еще какое-то время пробудем.

Должно быть, приглашение это показалось Райли довольно-таки необычным, но он ничего не сказал — просто вынул пачку сигарет и пустил ее по кругу. Кэтрин взяла одну, и Долли сказала:

— Кэтрин Крик, ты же сроду к табаку не притрагивалась.

Но Кэтрин ответила — как знать, может, она на этом и потеряла:

— Табак — он, наверно, большая утеха; недаром его столько народу нахваливает. А как доживешь до нашего возраста, лапушка, ищешь, чем бы себя потешить.

Долли закусила губу.

— Что ж, я думаю, большого вреда не будет, — сказала она и тоже взяла сигарету.

Есть на свете две вещи (если верить нашему директору мистеру Хэнду, застукавшему меня с сигаретой в школьной уборной), из-за которых любой мальчик непременно повредится в уме; с одной из них — курением — я покончил два года назад; и не оттого, что боялся повредиться в уме, а просто подумал — вдруг я из-за этого буду хуже расти. А теперь рост у меня стал нормальный, и Райли, по правде сказать, был не выше меня, хоть и казался выше, потому что двигался с нарочитой угловатостью верзилы-ковбоя. Так что я взял сигарету, а Долли, не затягиваясь, с силой выпустила дым и сказала, — наверное, нас стошнит всех разом, но никого не стошнило, и Кэтрин объявила — в следующий раз она бы не прочь попробовать трубку: до чего от нее дух приятный! И тут Долли вдруг сообщила нам поразительную новость: Вирена курит трубку. А я об этом понятия не имел!

— Не знаю, курит она еще или бросила, только

раньше была у нее трубка, и жестянка была с табаком «Принц Альберт» — туда половинку яблока клали. Только вы никому не рассказывайте! — спохватилась она, вспомнив о Райли, когда тот громко расхохотался.

Когда Райли шел по улице или проезжал в своей машине, вид у него был задиристый, напряженный. А тут, на дереве, его точно отпустило: на лице то и дело появлялась очень красившая его улыбка — словно ему хотелось проявить дружелюбие, что ли, даже если он и не собирался заводить с нами дружбу. Долли тоже чувствовала себя с ним совершенно свободно — он, видно, был ей по душе. Она явно его не боялась, — может быть, потому, что мы сидели в древесном доме, а здесь хозяйкой была она.

— Спасибо за белок, сэр, — сказала Долли, когда Райли стал собираться. — И непременно приходите еще.

Он спрыгнул на землю.

— Может, вас подвезти? Моя машина на горке, у кладбища.

— Вы очень любезны, — ответила Долли. — Только, по правде говоря, ехать нам некуда.

Ухмыляясь, Райли вскинул ружье и навел его на нас, и Кэтрин во всю мочь завопила:

— Драть тебя, малый, некому!

Но он рассмеялся, помахал нам рукой и пустился бегом, и легавая с лаем помчалась за ним.

— Что ж, выкурим сигаретку, — весело проговорила Долли.

Он оставил всю пачку нам.

К тому времени, когда Райли вернулся в город, там жужжащим роем уже носились слухи — как мы среди ночи сбежали из дому. Оказывается, Долли, ничего не сказав ни мне, ни Кэтрин, оставила Вирене записку, и та обнаружила ее, выйдя к утреннему кофе. Как я понимаю, в записке только и было сказано, что мы уходим и больше не станем ей докучать. Вирена кинулась звонить в отель «У Лолы» своему дружку Моррису Ритцу, и они вдвоем потащились к шерифу, брать его за бока. Этот самый шериф, приткий, наглый молодчик со свирепой челюстью и бегающими, как у шулера, глазками, получил свою должность при поддержке Вирены. Звали его Джуниус Кэндл. (Можете себе представить — тот самый Джуниус Кэндл, что сейчас сенатором!) Помощни-

ков шерифа отрядили нас разыскивать; шерифам других городов полетели телеграммы. Много лет спустя, когда уточнялось имущество семейства Тэлбо, я наткнулся на рукописный текст той телеграммы, составленный, как мне думается, доктором Ритцем:

«Объявляется розыск следующих трех лиц, уехавших вместе: Долли Огаста Тэлбо, белая, 60 лет, волосы соломенные, проседью, худощавая, рост 5 футов 3 дюйма, глаза зеленые, возможно, душевнобольная, для окружающих не опасна, описание примет вывесьте булочных, любит сдобное. Кэтрин Крик, негритянка, выдает себя индианку, возраст около 60, зубов нет, расстройство речи, рост низкий, сложение плотное, сильная, может быть опасной для окружающих. Коллин Тэлбо Фенвик, белый, 16 лет, выглядит моложе, рост 5 футов 7 дюймов, блондин, глаза серые, худощавый, сутулится, углу рта шрам, характер угрюмый. Все трое разыскиваются как беглецы».

— Ну, далеко-то они не удрали, ручаюсь,— сказал Райли на почте, и почтмейстерша миссис Питерс тут же стала названивать по телефону — передавать, что Райли видел нас в Приречном лесу, за кладбищем.

А мы тем временем тихо и мирно наводили уют в своем доме на дереве. Из клеенчатой сумки Кэтрин было извлечено розово-золотистое лоскутное одеяло, вслед за ним — колода карт, мыло, рулоны туалетной бумаги, лимоны и апельсины, свечи, сковорода, бутылка наливки из ежевики и две коробки из-под обуви, набитые всякой снедью: Кэтрин хвасталась, что обчистила кладовую — не оставила этой самой ни одного печеньица к завтраку.

Потом мы спустились к ручью, вымыли лицо и ноги холодной водой. Ручьев в Приречном лесу — что прожилок в листе; чистые, звонкие, они, извиваясь, сбегаются к тихой речушке, ползущей через лес, будто зеленый аллигатор. На Долли стоило посмотреть — стоит в воде, подоткнув шерстяную костюмную юбку, а вуаль все колышется, докучая ей, словно рой мошкары. Я спросил ее — Долли, зачем ты надела вуаль? И Долли сказала:

— Но ведь дамам положено надевать вуаль, когда они путешествуют, правда?

Вернувшись к дереву, мы приготовили кувшин очень вкусного оранжада и принялись обсуждать свое будущее. Все наше богатство составляли сорок семь долларов наличными да несколько побрякушек; среди них

почетное место занимал золотой перстень с печаткой — Кэтрин обнаружила его в потрохах борова, когда начинала колбасы. За сорок семь долларов, уверяла Кэтрин, можно доехать автобусом куда угодно. Она знает одного человека, так он с пятнадцатью долларами добрался до самой Мексики. Но мы с Долли были решительно против Мексики, — прежде всего, мы языка не знаем. А потом, говорила Долли, разве можно нам уезжать из нашего штата, и вообще мы только туда можем ехать, где лес под боком, — а то как же мы станем готовить снадобье от водянки? — По правде сказать, я думаю, надо нам поселиться именно здесь, в Приречном лесу, — задумчиво проговорила она, поглядывая вокруг.

— На этом вот старом дереве? Ну ты это, лапушка, лучше выбрось из головы! — возмутилась Кэтрин. А потом говорит: — Помнишь, мы читали в газете, как один человек купил за океаном замок и весь его, до последнего камешка, перетащил домой. Помнишь? Ну вот, может, и нам тоже погрузить мой домишко на фургон да и приволочь его сюда?

Но Долли сказала — домишко не наш, а Виренин, стало быть, перетаскивать его мы не можем.

— А вот и нет, ягодка, — объявила Кэтрин. — Коли ты стряпаешь человеку, стираешь на него, рожаешь ему ребят, стало быть, вы с тем человеком женаты, и он, человек этот, — твой. Так же вот, коли ты убираешь в доме, и поддерживаешь огонь в печах, и следишь, чтобы не пустовала плита, и все годы делаешь это с любовью, стало быть, вы с тем домом женаты, и он, дом этот, — твой. По моему разумению, оба те дома — наши: да мы бы могли эту самую в шею выгнать и были бы перед господом правы.

Тут мне пришла одна мысль: ниже по реке стоит брошенная жилая лодка, полузатопленная, позеленевшая от плесени; ее хозяина, старого рыбака, добывавшего себе пропитание ловлей сомов, выгнали из города после того, как он обратился к мировому за брачным свидетельством — хотел жениться на пятнадцатилетней цветной девушке. Мысль у меня была такая: почему бы нам не привести эту лодку в порядок и не перейти туда жить?

Но Кэтрин сказала — ей бы хотелось, если только это возможно, провести остаток дней своих на суше, «как нам и было предначертано господом», после чего перечислила еще кое-какие его предначертания, — например,



что деревья предназначены для обезьян и птиц. Вдруг она смолкла и стала подталкивать нас локтями, удивленно показывая вниз, туда, где расступался лес и глазам открывался луг.

Оттуда по направлению к нам чинно и важно шествовала высокая делегация: судья Кул, его преподобие мистер Бастер, миссис Бастер и миссис Мэйси Уилер. Впереди — шериф Джуниус Кэндл, в высоких шнурованных башмаках, на боку болтается пистолет в кобуре. Блики солнца порхали вокруг них, словно желтые бабочки, ежевика цеплялась за их чопорную городскую одежду, распрямившаяся лозина с силой хлестнула по ноге миссис Мэйси Уилер, и та отскочила, испуганно завизжав. Я рассмеялся.

Услышав мой смех, они вскинули головы, и на их лицах отразились смятение и нарастающий ужас — словно пришли люди погулять в зоопарк и забрели ненароком в клетку к зверям. Схватившись за кобуру, шериф Кэндл разболтанной походкой подошел к дереву и взглянул на нас, сощурился, словно глядел на солнце.

— Послушайте-ка... — начал было он, но его тут же оборвала миссис Бастер:

— Шериф, мы ведь договорились поручить это дело его преподобию!

У нее был твердый принцип — мужу ее, как представителю господ бога, должно во всем принадлежать первое слово. Его преподобие мистер Бастер откашлялся и стал потирать руки — ни дать, ни взять скребущиеся друг о дружку сухие щупальца насекомого.

— Долли Тэлбо, — заговорил он, и голос его оказался неожиданно глубоким и звучным для такого щуплого человечка. — Я обращаюсь к вам от имени вашей сестры, этой доброй, достойной женщины...

— Вот именно, что достойной, — пропела его жена, а вслед за нею, как попугай, подхватила и миссис Мэйси Уилер.

— ...которой ныне был нанесен столь жестокий удар...

— Вот именно, что удар! — в один голос пропели за ним обе дамы — привычно, словно в церковном хоре.

Долли глянула на Кэтрин, коснулась моей руки, как бы спрашивая, — что им нужно, этим людям, бросающим на нас снизу свирепые взгляды, словно свора собак, окружившая дерево с загнанными опоссумами. Ма-

пинально, верней всего, просто чтобы было что повертеть в руках, Долли вынула сигарету из пачки, оставленной Райли.

— Ну и срам! — взвизгнула миссис Бастер, вскидывая свою лысоватую головку. Те, кто называл ее старой ястребихой, — а таких хватало, — явно имели в виду не только ее характер: у нее была хищная птичья головка, вдавленная в плечи и непомерно маленькая для такой туши.

— Срам, да и только, — повторила она. — И как же это вы могли так отдалиться от господ? Залезла на дерево, будто то пьяная индианка, сидит себе, сигаретки покуривает, как последняя...

— Шлюха, — подсказала миссис Мэйси Уилер.

— ...шлюха, и это в то время, как ваша сестра лежит, словно пласт, убитая горем.

Может, они и впрямь не ошиблись, утверждая, что Кэтрин опасна для окружающих. Ох, и взвилась же она:

— Эй, пасторша, кончай нас с Долли шлюхами обзывать, а то вот слезу сейчас, да как трахну — костей не соберешь!

К счастью, никто из них ни слова не разобрал; иначе шериф, чего доброго, прострелил бы ей голову. Можете быть уверены. И многие белые у нас в городе еще сказали бы — правильно сделал.

Чувствовалось, что Долли потрясена, но держалась она превосходно. Понимаете, она просто счистила с юбки пыль и говорит:

— Поразмыслите-ка минутку, миссис Бастер, и тогда вы поймете: ведь мы к господу ближе, чем вы, — на добрых несколько ярдов.

— Bravo, мисс Долли! Удачный ответ, ничего не скажешь! — Судья Кул захлопал в ладоши и одобрительно рассмеялся. — Ну ясное дело, они ближе к господу, — продолжал он, ничуть не обескураженный холодными, осуждающими взглядами остальных. — Они-то на дереве, а мы на земле.

Тут на него напустилась миссис Бастер:

— Я думала, вы христианин, Чарли Кул. А по моему, не пристало христианину насмехаться над бедной полоумной женщиной, да еще подзадоривать ее.

— Вы бы, Тэлма, подумали, кого обзываете полоумной, — ответил судья. — Это тоже не очень-то по-христиански.

Тогда огонь открыл его преподобие мистер Бастер:

— Ответьте-ка мне, судья: разве вы не за тем явились сюда вместе с нами, чтобы исполнить волю Божию в духе христианского милосердия?

— Волю Божию? — иронически повторил судья. — Да вам не больше моего известно, в чем она состоит. Может, господь как раз и внушил этим людям поселиться на дереве. Признайтесь хотя бы в одном: вам-то не было господнего повеления их оттуда стащить — разве только считать господом богом Вирену Тэлбо, а ведь кое-кто из вас готов допустить эту мысль, не так ли, шериф? Нет, сэр, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы исполнить чью-то волю. Я здесь по собственной воле — просто мне захотелось пойти прогуляться: лес так красив в эту пору.

Тут он сорвал несколько побуревших фиалок и воткнул их в петлицу.

— К чертям все это... — начал было шериф, но мисс Бастер снова прервала его: богохульства она не потерпит ни в коем случае, вот пусть его преподобие подтвердит. И его преподобие поспешил подтвердить, что да, будь он проклят, если они потерпят.

— Здесь я распоряжаюсь, — уведомил их шериф и выпятил здоровенную челюсть громилы. — В это дело должен вмешаться закон.

— Чей закон, Джуниус? — спокойно осведомился судья. — Не забудьте, я просидел в судейском кресле двадцать семь лет — куда дольше, чем вы живете на свете. Так что поостерегитесь. У нас нет никаких юридических оснований что бы то ни было предпринимать против мисс Долли.

Нимало не уstraшенный, шериф полез на дерево.

— Давайте-ка лучше по-хорошему, — сказал он вкрадчивым голосом, ощеривая кривые клыки. — А ну, слезайте оттуда, вся компания! .

Но мы по-прежнему сидели, не двигаясь, словно птицы в гнезде, и он еще сильнее ощерился. Потом стал со злостью раскачивать ветку, словно пытался стряхнуть нас с дерева.

— Мисс Долли, вы же всегда были человеком миролюбивым, — заговорила миссис Мэйси Уилер. — Прошу вас, пойдите с нами домой. Не оставайтесь же вам без обеда.

Долли ответила строго по существу — что мы не

голодны; а они как? Для каждого желающего у нас найдется куриная ножка.

— Вы ставите меня в трудное положение, мэм,— объявил шериф Кэндл и подтянулся повыше. Ветка затрещала под его тяжестью, и тотчас же по всему дереву пошел жалобный и зловеший гул.

— Если он кого-нибудь из вас пальцем тронет, дайте ему по голове,— посоветовал судья Кул.— А не то я дам,— добавил он с неожиданной рыцарской воинственностью и, подпрыгнув, как потревоженная лягушка, вцепился в один из болтавшихся в воздухе башмаков шерифа. А шериф в это время тащил меня за ноги, так что Кэтрин пришлось обхватить меня поперек живота. Мы заскользили вниз, казалось, мы все вот-вот грохнемся, напряжение было ужасное. И тут-то Долли выплеснула шерифу за ворот остатки оранжада. Скверно выругавшись, он разом выпустил меня, и оба они — шериф и судья — рухнули наземь, подмяв под себя преподобного Бастера.

В довершение всех бед на них со зловещим карканьем повалились миссис Бастер и миссис Мэйси Уилер. Увидав, каких она натворила дел, Долли обомлела от ужаса. Она совсем растерялась, пустая банка выскользнула у нее из рук и с сочным стуком грохнулась миссис Бастер на голову.

— Прошу прощения,— проговорила Долли, но в общей кутерьме никто не услышал ее.

Куча мала понемногу распалась. Участники ее поднялись, не глядя друг на друга. От смущения они готовы были сквозь землю провалиться. Его преподобие весь словно сплюснулся, но, как выяснилось, кости у всех были целы, и только миссис Бастер, на чьей голове среди скудной растительности быстро вздувалась пирамидальная шишка, могла не без основания утверждать, что ей нанесено телесное повреждение. И она не замедлила это сделать:

— Долли Тэлбо, вы на меня напали,— не вздумайте отпираться, здесь все свидетели, все видели — вы запустили мне в голову банкой. Джуниус, арестуйте ее.

Но шериф и сам был занят выяснением отношений. Подбоченившись, надвигался он на судью, менявшего фиалки в петлице.

— Да не будь вы такой старый, врезал бы я вам сейчас — полетели бы вверх тормашками.

— А я, Джуниус, не такой уж и старый, просто не считаю возможным для мужчин вступать в драку у дам на глазах,— ответил судья. Был он рослый, плечистый, осанистый и, хотя ему было под семьдесят, выглядел на пятьдесят с небольшим. Судья сжал кулаки — крепкие, волосатые, как кокосовые орехи.— Впрочем,— добавил он хмуро,— я готов, если вы тоже готовы.

В эту минуту казалось — это, пожалуй, будет равная схватка. Вид у шерифа был уже не такой уверенный, и молодечества у него поубавилось. Он сплкнул и пробурчал:

— Ладно, не надó уж,— по крайности, никто не сможет сказать, будто я старого человека ударил.

— Или сумел ему быть достойным противником,— отпарировал судья.— Чего уж там, Джуниус, заправьте-ка рубашонку в штанишки и топайте полегоньку домой.

Шериф снова воззвал к нам:

— Не нарывайтесь на неприятности, слезайте-ка лучше да пойдите со мной.

Но мы и не шевельнулись, только Долли опустила вуаль, словно занавес, показывая, что с этим вопросом покончено раз и навсегда. Тут миссис Бастер, на голове которой, словно рог, торчала шишка, торжественно изрекла:

— Ладно, шериф, вы их предупредили.— Она поглядела на Долли, потом на судью.— Может, вы воображаете, что чего-то добились, ну так знайте: вас ждет возмездие, и не на небе, а прямо здесь, на земле.

— Прямо здесь, на земле,— пропела ей в лад миссис Мэйси Уилер.

И они двинулись по тропинке, надутые, церемонные, словно свадебный кортеж, и вышли на залитый солнцем луг, и красная волнующаяся трава расступилась и поглотила их. Судья задержался под деревом. Он улыбнулся нам и с вежливым полупоклоном сказал:

— Насколько мне помнится, вы говорили — для каждого желающего у вас найдется куриная ножка?

Казалось, он сам сколочен из кусков дерева: нос — сучком; ноги — как крепкие старые корни; широкие, жесткие брови — будто полоски корья; серебряные бородки мха, свисавшие с самых верхних ветвей, были под цвет его волосам, разделенным на прямой ряд, а потемневшие, как сыромятная кожа, листья, что слетали с

соседнего высоченного сикомора, — как раз в цвет его щек. Глаза — кошачьи, лукавые, но в лице что-то по-деревенски застенчивое. Вообще-то он был не из тех, кто напускает на себя важность. Немало людей, пользуясь его скромностью, обращалось с ним свысока. Зато ни один из них не мог бы похвастать, что окончил Гарвардский университет или дважды бывал в Европе, как судья Чарли Кул. И все ж находились такие, которые злобствовали и уверяли — судья задается: говорят же, что он каждый день перед завтраком прочитывает страничку по-гречески; и потом, что это за мужчина такой, у которого вечно цветок торчит в петлице? Если бы он и в самом деле ничего из себя не корчил, зачем ему было, скажите на милость, тащиться в самый Кентукки, чтобы выбрать себе жену, — не мог он, что ли, на которой-нибудь из наших местных жениться? Жены его я не помню; когда она умерла, я был еще слишком мал, и поэтому все, что о ней здесь рассказано, я повторяю с чужих слов.

В общем, город так и не подобрел к Айрин Кул — и как будто бы по ее же вине. Женщины из Кентукки вообще народ трудный: вечно взвинченные, своенравные, ну, а Айрин Кул, урожденная Тодд из Боулинг-Грина (та Мэри Тодд, что была женой Авраама Линкольна, доводилась ей троюродной теткой), всем и каждому в городе давала понять, что они — люди отсталые, вульгарные; никого из местных дам она у себя не принимала, но мисс Палмер, портниха, рассказывала, до чего стильный стал у судьи дом, с каким вкусом Айрин его обставила, — старинная мебель, восточные ковры. В церковь и обратно она ездила на роскошной машине с поднятыми стеклами и все время, пока длилась служба, прижимала к носу надушенный платок. (*Ишь ты, божий запах недостаточно хорош для Айрин Кул!*) Никого из местных врачей она на порог не пускала, хотя сама была наполовину инвалид: из-за небольшого смещения в позвоночнике ей приходилось спать на досках. По городу ходили грубые шуточки — у судьи-де повсюду заноз полно. Тем не менее он породил двух сыновей: Тодда и Чарльза-младшего; оба они родились в Кентукки — Айрин уезжала туда перед родами, чтобы дети ее могли считать себя уроженцами этого штата. И все-таки тем, кто пытался доказывать, что Чарльз Кул — разнесчастный человек, что жена срывает на нем всю

злость, в общем-то козырять было нечем, а когда она умерла, тут уж их самым завзятым ругателям пришлось, скрепя сердце, признать — старый Чарли, должно быть, и вправду любил свою Айрин: последние два года своей жизни она была очень больна и раздражительна, и он ушел с поста окружного судьи, чтобы повезти ее в Европу, в те самые места, где когда-то они провели свой медовый месяц. Оттуда она уже не вернулась — ее похоронили в Швейцарии. Недавно одной учительнице из нашего городка, Керри Уэллс, довелось побывать в Европе с туристской группой. Единственное, что связывает наш городок с тем континентом, это могилы. Могилы солдат и могила Айрин Кул. Так вот, Керри, прихватив с собой фотоаппарат, решила их все обойти. До вечера таскалась она по кладбищу, где-то в горах, под самыми облаками, но жену судьи так и не разыскала. А ведь забавно все-таки: лежит себе Айрин Кул безмятежно на горном склоне и по-прежнему не желает никого принимать...

Когда судья возвратился домой, оказалось, что здесь ему, в сущности, нечего делать: в городке уже всем заправляла банда политиканов во главе с Толлсэпом по прозвищу «Сам-с-усам». Эти ребята, ясное дело, не могли допустить, чтобы в судейском кресле сидел Чарли Кул. Грустно было смотреть на судью — стройного человека в отлично сшитом костюме, с черной шелковой лентой на рукаве и маленькой розой в петлице; грустно было видеть, что делать ему совершенно нечего, — разве только сходит на почту или зайдет ненадолго в банк. Там, в банке, работали его сыновья — расчетливые, тонкогубые; они вполне могли бы сойти за близнецов — оба бледные, как болотная мальва, у обоих узкие плечи и водянистые глаза. Чарльз-младший, умудрившийся облысеть еще в колледже, был заместителем председателя правления банка, а второй, Тодд, — главным кассиром. Они решительно ничем не напоминали отца, разве что оба были женаты на уроженках Кентукки. Эти-то невестки и распоряжались теперь в доме судьи. Они разделили дом на две половины с отдельными входами. Был между ними уговор, что старик живет то в семье старшего сына, то в семье младшего. Что ж удивительного, если теперь ему захотелось прогуляться по лесу...

— Благодарю вас, мисс Долли, — сказал судья, вытирая рот тыльной стороной ладони. — Таких вкусных куриных ножек я с самого детства не едал.

— Ну, что вы, это такая малость — куриная ножка. Ведь вы так храбро себя вели! — Было в дрогнувшем голосе Долли что-то взволнованное, женское, и это поразило меня — неуместно как-то и ей не к лицу. Кэтрин, видно, тоже так показалось, — она бросила на Долли укоризненный взгляд. — Не хотите ли еще чего-нибудь? Может, кусок торта?

— Нет, мэм, спасибо, с меня предостаточно.

Судья вынул из кармашка золотые часы на цепочке, отстегнул цепочку от жилета и накинул, точно лассо, на толстую ветку у себя над головой. Часы висели на дереве, будто елочное украшение, и их деликатное, приглушенное тиканье казалось биением сердца какого-то слабенького существа — светляка, лягушонка.

— Когда слышишь, как движется время, день длиннее становится. А я теперь понял, какая это великая штука — долгий день. — И он погладил против шерсти убитых белок, — свернувшись в клубок, они лежали в сторонке, и казалось, они просто спят. — Прямо в голову. Меткий выстрел, сынок.

Я, конечно, сообщил ему, на чей счет следует отнести его похвалу.

— Ах, так, значит, это Райли Гендерсон! — воскликнул судья. И рассказал нам, что это от Райли стало известно, где мы находимся. — А они-то, пока узнали, должно быть, долларов на сто разослали телеграмм, — добавил он, явно развеселившись. — Пожалуй, Вирена оттого и слегла, что ее грызет мысль об этих деньгах.

Долли нахмурилась:

— Но ведь это уму непостижимо, что они тут вытворяли. До того разъярились — прямо убить нас были готовы. А я так и не понимаю, за что. И при чем тут Вирена? Она-то ведь знала — мы уходим, чтоб ей было покойней. Я ей так и сказала. Да еще записку оставила. Но если она расхворалась... Судья, а она правда больна? Я что-то не помню, чтобы она хоть когда-нибудь болела.

— Ни одного денька, — подтвердила Кэтрин.

— Ну, она расстроена, это само собой, — не без удовлетворения отметил судья. — Но свалиться с такой болезнью, которой простым аспирином не вылечишь, не в ее это духе. Помню, как-то затеяла она переделки на кладбище. Решила возвести там нечто вроде гробницы для себя и для всей семьи Тэлбо. Так вот, приходит ко мне одна из наших дам и говорит: «Судья, а не кажется



вам, что Вирена Тэлбо — самый больной человек у нас в городе? О таком мавзолее для себя возмечтать — это же что-то болезненное». Нет, говорю, не кажется. Если и есть тут что-то болезненное, так только одно: она собирается деньги на это выложить, а сама ведь и мысли не допускает, что когда-нибудь и вправду умрет!

— Не желаю я слушать о моей сестре ничего плохого, — резко бросила Долли. — Она много и тяжело трудится. Она заслужила, чтобы в доме было все, как она хочет. Это мы виноваты, вышло так, что мы ее подвели; потому-то для нас и нет теперь места у нее в доме.

У Кэтрин за щекой заходили ватные катышки, будто табачная жвачка:

— Ты кто — моя лапушка Долли или святоша какая? Он нам друг, ему надо всю правду сказать — как эта самая и докторишка задумали наше лекарство стибрить...

Судья попросил, чтобы ему перевели ее слова, но Долли сказала — все это чушь и повторять ее не к чему. Потом, чтобы как-то его отвлечь, спросила, умеет ли он разделявать белок. Задумчиво кивая, он смотрел куда-то мимо нас, поверх наших голов, вглядываясь своими зоркими, напоминавшими желуди глазами в окаймленные небом листья, трепыхавшиеся на ветру.

— Может быть, никто из нас не нашел своего дома... Мы только знаем — он где-то есть... И если удастся его отыскать, пусть мы проживем там всего лишь мгновенье, все равно мы должны почитать себя счастливыми. Ваш дом, быть может, тут, на дереве, — сказал он и зябко поежился, словно в небе раскрылись широкие крылья и бросили на него холодную тень. — Да и мой тоже...

Неприметно, под мерный звук времени, которое пряли золотые часы, день стал клониться к вечеру. Туман с речки, эта осенняя дымка, лунно серебрясь, потянулся меж бронзовых и синих стволов; вокруг побледневшего солнца напоминая о зиме лег светящийся ободок. А судья все не уходил.

— Бросить двух женщин и мальчика? Ночью, на произвол судьбы — и шерифа? Когда эти болваны замышляют бог знает что? Нет, я остаюсь.

Здесь, на дереве, судья, безусловно, нашел свой дом — даже больше, чем мы. На него приятно было смотреть: он был оживлен, весь в движении, словно заячий нос; он снова чувствовал себя мужчиной, больше

того — защитником. Пока он разделывал белок складным ножом, я набрал сушняка и разложил под деревом костер, чтобы их зажарить. Долли откупорила бутылку наливки, сославшись на то, что стало свежо. Жаркое из белок вышло на славу — нежное-нежное, и судья с гордостью объявил: нам непременно как-нибудь надо отведать жареного сома его собственного приготовления. Мы молча потягивали наливку; запах листвы и дымка, курившегося над затухавшим костром, вызывал у нас в памяти другие осенние дни, мы вздыхали и слушали, будто шум моря, разноголосое пенье травы. Мерцала воткнутая в банку свеча, и шелкопряды, снуя вокруг пламени, колыхали его, словно бы направляя его желтую ленту меж черных ветвей.

И вот тут что-то нас насторожило — даже не звук шагов, а неясное чувство вторжения. Это мог быть просто восход луны. Но только луны еще не было. И не было звезд. Ночь была темная, как наливка из ежевики.

— Мне кажется, там кто-то есть. Там что-то такое, внизу, — сказала Долли, выразив наше общее чувство.

Судья взял свечу в руку и поднял. Ночные насекомые заскользили прочь от ее прыгающего света, между деревьями метнулась белая сова.

— Кто идет? — крикнул судья, и оклик его прозвучал внушительно, по-военному. — Отвечай, кто идет?

— Я, Райли Гендерсон. — И в самом деле, это был Райли. Он отделился от тени; в свете тускло горевшей свечи его запрокинутое, ухмыляющееся лицо казалось искаженным и злым. — Просто решил посмотреть, как вы тут. Вы на меня не злитесь, а? Знал бы я, в чем дело, ни за что не сказал бы им, где вы.

— Да никто тебя не винит, сынок, — успокоил его судья. И я вспомнил — ведь это он тогда вступился за Райли и возбудил дело против его дядюшки, Хорейса Холтона. Значит, они понимают друг друга. — А мы тут наливкой балуемся помаленьку. Я уверен, мисс Долли будет рада, если ты нам составишь компанию.

Кэтрин заворчала — и так места нет, еще чуток веса прибавить, и старые доски подломятся. Под угрожающий скрип настила мы все-таки сдвинулись поплотнее, чтобы дать Райли место, но не успел он втиснуться между нами, как Кэтрин схватила его за волосы:

— Это тебе за то, что нынче целился в нас из ружья, а тебе что было сказано: не смей! А это, — тут она снова

рванула зажатый в горсти вихор и вполне внятно произнесла, — это за то, что шерифа на нас напустил.

Я решил, что это уже нахальство с-ее стороны, но Райли только поворчал, вполне добродушно, а потом говорит — как бы ей нынче же ночью не представился посерьезнее повод вцепиться кому-нибудь в волосы. И стал нам рассказывать. В городке разгорелись страсти, на улицах толпится народ, словно в субботний вечер; больше всех мутит воду его преподобие вместе с супругой: миссис Бастер сидит у себя на веранде и каждому посетителю демонстрирует свою шишку. А шериф Кэндл уговорил Вирену, чтобы она разрешила ему подписать ордер на наш арест — на том основании, что мы-де похитили ее собственность.

— И знаете что, судья, — серьезно проговорил Райли, и вид у него был сконфуженный. — Они даже вас замышляют арестовать. За нарушение общественного порядка и за попытку воспрепятствовать отправлению правосудия, так я слышал. Наверно, не надо бы этого вам рассказывать, но около банка я наскочил на одного из ваших ребят, Тодда, и спрашиваю, что он намерен делать, — ну, в связи с тем, что вас собираются арестовать. А он говорит — ничего. Они, говорит, так и ждали чего-нибудь в этом роде, а еще — что вы сами беду на себя накликали.

Подавшись вперед, судья загасил свечу, словно не желая, чтобы мы видели в этот момент выражение его лица. В темноте послышался чей-то плач, и секунду спустя мы поняли — это Долли. Ее всхлипывания вызвали в нас молчаливую вспышку любви, и, обежав полный круг, она крепко спаяла нас всех друг с другом. Раздался тихий голос судьи:

— Когда они явятся, мы должны быть готовы их встретить. А теперь слушайте меня все...

### Глава III

— Чтобы защитить свою позицию, мы должны ее точно знать, это первейшее правило. Итак: что нас свело друг с другом? Беда. Мисс Долли и ее друзья очутились в беде. И ты, Райли. Мы с тобой оба в беде. Наше место — здесь, на дереве. Иначе бы нас тут не было.

Понемногу Долли затихла — уверенный голос судьи успокоил ее. А судья продолжал:

— Еще сегодня, когда я шел сюда вместе с шерифом и остальными, я был уверен, что мне так и не суждено хоть кому-нибудь рассказать свою жизнь, и она пройдет, не оставив следа. А теперь я думаю — меня не постигнет эта горькая участь... Мисс Долли, сколько же это лет прошло? Пятьдесят? Шестьдесят? Вот с каких пор я помню вас — угловатой, поминутно красневшей девочкой. В город вы приезжали в отцовском фургоне и боялись из него вылезть — как бы мы, городские ребята, не увидели, что вы босиком.

— Ну они-то, положим, были обуты, Долли и эта самая, — пробурчала Кэтрин. — Это я босиком разгуливала.

— Столько лет я встречал вас, но так и не знал, даже понятия не имел, кто вы такая, а вот сегодня понял — вы живая душа, язычница...

— Язычница? — встревоженно, но с явным интересом переспросила Долли.

— Ну во всяком случае — живая душа. А ведь этого не уловишь одним только взглядом. Живая душа распахнута для всего живого, понимает, что нельзя всех стричь под одну гребенку. И из-за этого постоянно попадает в беду. Вот мне, например, не следовало становиться судьей. Сколько раз, сидя в судейском кресле, я вынужден был защищать неправо дело: ведь закон не считается с тем, что все люди разные. Помните старину Карпера, рыбака, — он жил на реке в своей лодке? Его выгнали из города за то, что он хотел жениться на этой славной цветной девчужке, — по-моему, она сейчас у миссис Поста работает. И знаете, ведь она любила его. Бывало, как ни пойду на рыбалку, всякий раз вижу их вместе. Им было так хорошо друг с другом. Он нашел в этой девушке то, чего я не нашел ни в ком, — единственного человека на свете, от которого ничего не скрываешь. И все-таки, если бы им удалось пожениться, шериф был бы обязан арестовать его, а я — засудить. Иной раз мне кажется — я в ответе за всех, кого за свой век признал виновными, настоящая-то вина легла на меня. Вот отчасти поэтому мне и хочется перед смертью хоть раз оказаться правым, защищая правое дело.

— А сейчас вы именно что защищаете правое дело, — вмешалась Кэтрин. — Эта самая и докторишка...

— Тихо ты! Тихо! — сказала Долли.

— Единственный человек на свете... — повторил Райли слова судьи и выжидательно смолк.

— Это значит, — отозвался судья, — такой человек, которому можно сказать все. Неужели я и впрямь идиот, если мечтаю об этом? Но ведь подумать только, как много мы тратим сил на то, чтобы прятаться друг от друга, как боимся, чтобы люди не распознали, кто мы такие на самом деле. А теперь стало ясно, кто мы и что, — пятеро дуралеев на дереве. И это — большая удача, если только сумеешь ею воспользоваться: нам уже незачем беспокоиться о том, как мы выйдем в глазах посторонних. Стало быть, мы теперь можем разобраться в истинной своей сути. А если мы сами себя поймем, нас уж никто отсюда не согонит. Ведь именно потому, что наши приятели не сумели сами в себе разобраться, они и строят нам козни: не хочется им признавать, что люди могут быть не похожими друг на друга. Раньше я по кусочкам открывал себя чужим людям — случайным попутчикам, исчезавшим в людском потоке на сходнях, выходявшим на следующей станции из вагона. Может быть, если их всех собрать, и получился бы тот самый, единственный человек на свете, только он был бы о десяти лицах и расхаживал сразу по сотне улиц. Но теперь у меня появился шанс обрести того человека: это вы, мисс Долли, и ты, Райли, — вы все.

Тут Кэтрин объявила:

— Никакой я не человек о десяти лицах, придумает тоже!

И тогда Долли сердито сказала — если она не умеет разговаривать с людьми уважительно, лучше пусть идет спать. — Только знаете что, судья, боюсь, я не совсем поняла вас. Что мы должны рассказать друг другу? Свои секреты? — добавила Долли невпопад.

— Секреты? Нет, нет.

Судья чиркнул спичкой и снова зажег свечу. Его лицо, внезапно возникшее из темноты, поразило нас своим трогательным выражением. Оно как бы молило нас всех: помогите.

— Говорить можно хоть о нынешней ночи или о том, что пока нет луны. Важны не слова, а доверие, с которым тебя выслушивают. Айрин, моя жена, была женщина замечательная, — казалось, мы всем бы могли делиться друг с другом. Но нет, мы были с ней совер-

шенно разные люди, не понимали друг друга. Она умерла у меня на руках, и перед самым концом я спросил ее: «Ты счастлива, Айрин? Была ли ты счастлива со мной?»

«Счастлива, счастлива, счастлива», — были последние ее слова. И с тех пор я в сомнении, я так и не понял, значило это «да» или она повторила, как эхо, мои же слова. А ведь сумел бы понять, если б знал ее лучше. Или взять моих сыновей. Нет у них ко мне уважения. А мне так хотелось, чтобы они уважали меня. И не только как отца, главное — как человека. Но вот беда, им кажется, будто они обо мне знают нечто постыдное. Я вам сейчас расскажу, что именно.

Его живые глаза, освещенные пламенем свечи, остро поблескивали; их испытующий взгляд останавливался поочередно на каждом из нас, словно бы проверяя — внимательно ли мы слушаем, верим ли мы ему.

— Лет пять тому назад, нет, почти шесть, я нашел в поезде на сиденье детский журнал, оставленный кем-то из ребятишек. Я подобрал его, стал перелистывать. Вижу — на последней странице обложки — адреса ребят, желающих переписываться с другими ребятами. Была среди них одна девочка с Аляски, мне понравилось ее имя — Хизер Фоллс<sup>1</sup>, — и я послал ей открытку с видом. Господи, казалось бы, это так безобидно и столько доставило мне удовольствия! Она ответила сразу же, и письмо ее поразило меня — до чего толково она рассказывала про жизнь на Аляске, так прелестно и живо описывала овцеводческое ранчо своего отца, северное сияние. Ей было тринадцать лет, она вложила в письмо свою карточку — хорошенькой ее не назовешь, но лицо смышленное, доброе. Порылся я в старых альбомах и нашел один снимок, с виду довольно новый; сделан он был на рыбалке. Мне там пятнадцать, я стою на солнце-пеке, в руке — форель. Вот я и написал ей так, будто я сам еще мальчик, — рассказывал, какое мне к рождеству подарили ружье, и про то, что у нас оценилась собака, и как мы называли щенят, и как к нам в город приезжал цирк. Вновь стать подростком и завести подружку на далекой Аляске — разве это не радость для старика, который сидит один-одинешенек и слушает тиканье часов? А потом она написала мне, что влюбилась в знакомого мальчика, и я испытал настоящие муки ревности, будто я и вправду юнец. Но мы остались дру-

<sup>1</sup> Буквально — вересковый водопад. (Прим. перев.)

зьями: два года назад я написал ей, что готовлюсь на юридический, и она прислала мне золотой самородок — говорит, он должен принести мне удачу.

Он достал из кармана маленький самородок, положил его на ладонь, чтобы всем было видно. И она сразу стала нам такой близкой, Хизер Фоллс, словно этот талисман, слабо поблескивающий у него на ладони, был частицею ее сердца.

— И это они считают постыдным? — спросила Долли, и в ее голосе было недоумение, а не гнев. — То, что вы постарались, чтобы девочке где-то там, на Аляске, не было так одиноко? Да там же снег идет без конца!

Судья поспешно прикрыл самородок сжатыми пальцами.

— Нет, мне они ничего не сказали. Но я слышал, как они говорили между собой по ночам, сыновья со своими женами, — что они просто не знают, как со мной быть. Само собой, они провели об этих письмах. Я не считаю нужным запира́ть ящики — странно как-то, чтоб человек не мог обойтись без ключей даже в доме, который, хотя бы когда-то, был для него родным. В общем, они решили, что я... — И он постукал себя по лбу.

— А мне тоже однажды было письмо. Коллин, голубчик, плесни-ка еще чуток, — попросила Кэтрин, показывая на бутылку с наливкой. — Правда-правда. Было мне как-то письмо, оно и сейчас еще где-то валяется, годов двадцать его берегу и все думаю — от кого бы это. А в том письме было: «Здорово, Кэтрин, давай приезжай в Майами и выходи за меня, привет, Билл».

— Кэтрин! Человек просил тебя выйти за него замуж, и ты за все годы ни словом мне не обмолвилась? Кэтрин только плечом повела.

— Ну и что ж, лапушка, ведь судья как говорил: не всем все надо рассказывать. Да потом, я этих Биллов целую кучу знала и ни за кого из них сроду бы не пошла. Мне только одно не дает покою — который из них написал то письмо? А интересно бы все же дознаться — ведь как там ни говори, а я за всю жизнь только одно это письмо и получила. Может, это тот Билл, что крышу на моем домике настилал, — ой, ну верно! Крыша в ту пору уже готова была! Господи, до чего я старая стала, о таких делах давно и думать забыла. А другой Билл — тот однажды весной у нас огород вспахивал, в тринадцатом году было дело; что ж, этот парень умел бо-

розду ровно тянуть, ничего не скажешь. И еще другой Билл — тот строил курятник; он уехал потом, устроился проводником в спальном вагоне; может, и он прислал то письмо. А то вот еще один Билл — ох нет, того Фредом звали. Коллин, голубчик, наливка-то до чего хороша!

— Я и сама не прочь выпить еще глоточек, — сказала Долли. — Потому что Кэтрин так меня...

— Хм-хм... — отозвалась Кэтрин.

— Если бы вы говорили помедленнее или жевали поменьше... — Судья, видно, принял за табачную жвачку ватные катышки у Кэтрин за щекой.

Райли, горбясь, сидел чуть поодаль от нас и молча вглядывался в полную жизни темноту. Я-я-я, прокричала какая-то птица.

— Я... Нет, судья, вы не правы, — сказал он.

— Почему же, сынок?

То постоянно сдерживаемое, напряженное беспокойство, которое всегда связывалось у меня с представлением о Райли, вновь захлестнуло его лицо:

— Нет у меня никакой беды. Просто я сам — никакой. Или вы скажете, в этом и есть моя беда? Вот я лежу по ночам, не сплю и все думаю: ну на что я гожусь? Охотиться, водить машину, лодыря гонять? И как подумаю — а вдруг я больше вообще ни к чему не пригоден, — так меня жуть берет. А потом вот еще что: я никого не люблю, разве только сестренку, но это другое дело. Ну вот вам к примеру — встречался я с одной девочкой из Рок-Сити чуть ли не целый год, я до нее ни с одной не гулял так долго. И вот что-нибудь с неделю назад ее вдруг прорвало — есть, спрашивает, у тебя сердце или нет? Говорит, если я не люблю ее, лучше ей умереть. Тогда поставил я машину поперек рельсов; ну что ж, говорю, подождем — как раз через двадцать минут скорый пройдет. Сидим, глаз друг с друга не сводим, а я думаю — скотство все-таки, вот я гляжу на тебя, а сам ничегошеньки не испытываю, кроме...

— Кроме самодовольства? — вставил судья.

Райли не стал отпираться.

— А если б мои сестренки были достаточно взрослые, чтоб о себе позаботиться, мне бы в тот раз и впрямь захотелось дожидаться, пока нас скорый разгрохает.

От его слов у меня в животе заныло и так захотелось сказать ему: я хочу быть только таким, как он, и никаким другим.



— Вот вы тут говорили про единственного человека на свете. Ну почему она не могла для меня стать таким человеком? Это ведь как раз то, что мне нужно. Пока я сам по себе, от меня проку мало. Может, если б мне надо было о ком-то заботиться — о таком вот единственном человеке, — я стал бы придумывать разные планы и их выполнять. Купил бы, к примеру, те участки за пасторским домом, застроил бы их. Я бы сумел — только б внутри у меня все успокоилось.

Неожиданно налетел ветер, зазвенел листьями, разорвал ночные облака, и в разрывы потоками хлынул звездный свет. Наша свеча, словно напуганная ярким сверканием прояснявшегося, утыканного звездами неба, вдруг сорвалась вниз, и мы увидели над собой выплывшую из облаков далекую, позднюю, зимнюю луну. Она белела, словно снежный ломоть, и к ней из дали и близи воззвали живые существа — заквакали горбатые, луноглазые лягушки, когтистым голосом заорала дикая кошка. Кэтрин вытащила розовое лоскутное одеяло и заставила Долли завернуться в него. Потом обняла меня и стала почесывать мне затылок, пока голова моя не опустилась к ней на грудь.

— Озяб? — спросила она, и я придвинулся к ней поближе: она была теплая и уютная, как наша старая кухня.

— По-моему, сынок, не с того ты конца начинаешь, — сказал судья, поднимая воротник пальто. — Где уж тебе о девушке заботиться! Ты хоть о таком вот листочке позаботился когда-нибудь в жизни?

Не переставая вслушиваться с охотничьим азартом в крик дикой кошки, Райли стал ловить листья, кружившие вокруг нас, как ночные бабочки; и вот уже один лист, — трепещущий и живой, словно готовый вспорхнуть, — зажат у него между пальцами. Судья тоже поймал слетавший лист, но у него в руке он выглядел как-то значительнее, чем у Райли. Бережно прижимая его к щеке, судья сдержанно проговорил:

— Мы тут толкуем о любви. Лист, горстка семян — вот с чего надо тебе начать; почувствуй сперва хоть немного, что это значит — любить. Для начала — лист или струи дождя, а потом уже кто-то, кому можно отдать все, чему научил тебя лист, что взросло там, куда пролились струи дождя. Пойми — это нелегкое дело: на то, чтобы ему научиться, может уйти целая жизнь — у

меня и ушла, а ведь я так и не овладел им, понял только одно: любовь — непрерывная цепь привязанностей, как природа — непрерывная цепь жизни.

— Если так, — заговорила Долли, порывисто вздохнув, — значит, я всю свою жизнь любила. — Она поглубже зарылась в одеяло. — Впрочем, нет, — упавшим голосом сказала она. — Пожалуй, все-таки нет. Я никогда не любила ни одного... — Долли запнулась, и покуда она подбирала нужное слово, ветер, проказничая, вздувал ее вуаль, — ...ни одного джентльмена. Вы можете возразить — просто мне не представился случай: ведь папа не в счет. — Она снова замялась, словно решив, что и так слишком много наговорила. Дымка звездного света окутывала ее плотно, как стеганое одеяло; что-то — не то разглагольствования лягушек, не то доносившиеся с луга тихие голоса травы — завораживало ее, заставляло ее говорить: — Но зато я любила все остальное. Вот хоть бы розовый цвет: когда я была ребенком, был у меня один-единственный цветной мелок — розовый, и я рисовала розовых кошек, розовые деревья; тридцать четыре года я прожила в розовой комнате. А еще была у меня такая коробочка — она и сейчас стоит где-то на чердаке, надо бы попросить Вирену, чтобы сделала доброе дело, принесла ее мне, — как приятно было бы снова увидеть самые первые мои привязанности. Что там было? Обломок сухого сота, пустое осиное гнездо — в общем, всякая всячина, а то вот еще — апельсин, утыканный сухими гвоздиками, и яйцо сойки. Каждое из этих сокровищ я любила, и любовь накапливалась, и выпархивала из меня, и носилась вокруг, как птица над полем с подсолнухами. Только лучше этого людям не показывать, а то им становится тяжело, они чувствуют себя горемыками, даже не знаю почему. Вирена, бывало, бранит меня, говорит — вечно я забиваюсь куда-нибудь в угол. А я просто боюсь, как бы люди не напугались, если я покажу им, что они мне дороги. Вот как жена Пола Джимсона. Помните, он заболел и не смог разносить газеты, и она стала ходить вместо него? Бедняжка, худенькая такая, — бывало, она еле тащится со своим мешком. И вот как-то раз — день был холодный — взошла она на крыльцо, а у самой из носу течет, глаза слезятся от холода. Положила она газеты, а я ей говорю — обождите, постойте-ка, и вынимаю платок, чтобы вытереть ей глаза. Мне хотелось сказать ей, если б я

только смогла, что мне так ее жаль, что я ее полюбила. Я коснулась ее лица, а она слабо так вскрикнула, повернулась и бегом по ступенькам вниз. С тех пор она всякий раз швыряла нам газеты прямо с улицы, и, когда они шлепались на крыльцо, этот звук у меня в костях отдавался.

— Жена Пола Джимсона! Больно надо из-за эдакой швали переживать,— сказала Кэтрин, прополаскивая рот остатками наливки.— Ну есть у меня золотые рыбки. Так коли они мне по душе, что ж мне теперь, весь мир полюбить? Эдакий кавардак любить — вот еще, скажешь тоже! Говорите себе, что хотите, но проку от ваших разговоров никакого, один только вред; и кому это нужно — такое выкапывать, про что лучше забыть. Надо поменьше другим про себя рассказывать. В самом нутре своем люди — они ведь хорошие. Так что же от человека останется, коли он будет направо и налево все самое свое заветное выбалтывать? Вон судья говорит — мы тут потому, что у нас, мол, у всех беда, у каждого своя. Вот еще чушь-то! Мы здесь очень просто почему. Первое дело — этот дом на дереве наш, второе — эта самая и докторишка хотят наше кровное уворовать. А третье — вы все, каждый из вас, потому только здесь и сидите, что вам так хочется, ваше нутро того требует. А мое — нет. Мне надо, чтоб была крыша над головой. Лапушка, ты б поделилась одеялом с судьей — человека так и трясет.

Дошли смущенно приподняла угол одеяла, кивнула судье, и судья, ничуть не смущаясь, скользнул под него. Ветви нашего дерева раскачивались, как огромные весла, что погружаются в море, а оно медленно катит свои волны и выстывает под светом далеких-далеких звезд.

Райли, оставшийся в одиночестве, сидел, скорчившись, как несчастный сиротка.

— Иди сюда, упрямая башка, озяб, поди, не хуже других,— сказала Кэтрин, знаками предлагая ему пристроиться у ее правого бока, как я пристроился у левого. Но, видно, ему это не особенно улыбалось,— может, заметил, что запах от нее горький, как полынь, а может, считал, что это телячьи нежности. Тогда я сказал — давай, Райли; Кэтрин теплая и уютная, теплой одеяла. И, помедлив немного, Райли придвинулся к нам. Все молчали уже так давно, что я решил — они спят. Но вдруг я почувствовал — Кэтрин словно вся сжалась.

— А до меня ведь только сейчас дошло, кто мне тогда то письмо послал: никакой это не Билл. Эта самая его мне послала и больше никто, вот не будь я Кэтрин Крик. Сговорила с каким-нибудь черномазым в Майами, чтоб опустил мне письмо,— небось думала, я как дуну туда, только меня и видели.

Долли сонно пробормотала:

— Тихо ты, тихо, закрой глаза. Бояться не надо, ведь тут мужчины, они нас стерегут.

Качнулась ветка, дерево вспыхнуло в лунном свете, и я увидел — судья взял Доллину руку в свою. Это было последнее, что я увидел.

## Глава IV

Райли проснулся первый и разбудил меня. На горизонте меркли три утренние звезды — свет приближающегося солнца затоплял их. На листьях сверкали блестящие росы, в небо черной вереницей устремлялись дрозды — встречать разгорающийся день. Райли сделал мне знак спускаться. Мы молча соскользнули вниз по стволу. Кэтрин храпела вовсю и ничего не слышала; судья и Долли тоже не заметили нашего ухода — они спали щека к щеке, словно двое детей, заблудившихся в темном лесу, где хозяйничает злая колдунья.

Мы двинулись к речке, Райли шел впереди. Его холщовые штанины с шуршанием терлись друг о дружку. На каждом шагу он останавливался и начинал потягиваться, будто долго ехал в поезде. Вскоре мы набрали на муравейник. Рыжие муравьи уже принялись за работу и оживленно шныряли взад и вперед. Райли растегнул брюки и принялся их поливать. Не скажу, чтоб это мне показалось смешным, но я засмеялся, чтобы не нарушать компании, и тут он повернулся и обмочил мне башмак. Я, понятное дело, обиделся. Ведь это значит, что он ни капли не уважает меня. Я спросил его — ну зачем же он так?

— Ты что, шуток не понимаешь? — ответил он и закинул руку мне за плечо. Если б можно было в таких делах устанавливать точные даты, я бы сказал — именно с этой минуты мы с Райли Гендерсоном стали друзьями; у него, по крайней мере, как раз в ту минуту зародилось теплое чувство ко мне, и от этого меня еще больше к нему потянуло.

Шагая по бурому вереску, меж бурых деревьев, мы зашли далеко в лес и спустились к реке.

По ее зеленым медлительным водам плыли листья, похожие на багровую пятерню. Из воды торчал конец затонувшего бревна, — казалось, это высунул голову любопытный речной зверек. Мы пошли к плавучему дому, там вода была чище. Корма старой лодки слегка осела. Прелый лист и слой ила, словно густая ржавчина, покрывали крышу каюты и покосившуюся палубу. Но странное дело — внутри каюта оказалась вполне обжитой: повсюду были раскиданы номера приключенческого журнала, на столе, возле керосиновой лампы, выстроился целый взвод жестянок из-под пива; на койке валялось одеяло и подушка с розовыми следами губной помады. Сперва я понял только одно — здесь чей-то тайник; потом по широченной улыбке на простецком лице Райли я догадался, чей именно.

— А самое главное, — с борта удить хорошо. Только смотри, никому не проболтайся.

Я торопливо перекрестил исполненное восторга сердце.

Все время, пока мы раздевались, я словно видел сон наяву. Мне привиделось: лодка идет по реке, на борту — мы все пятеро; парусом полощется на веревке наше белье, в камбузе печется торт из кокосового ореха, в каюте рдеет герань. Мы плывем все вместе, и реки сменяют друг друга, и все новые виды открываются нашим глазам.

Медленно выползавшее солнце еще кое-как разогрелось в остатках летнего тепла, но вода была холоднющая, — едва окунувшись, я покрылся пупырышками и, лязгая зубами, полез обратно на палубу. Здесь я постоял, глядя на Райли, — он беззаботно носился от одного берега к другому. На отмели островком зеленел камыш, и стебли его, напоминавшие журавлиные ноги, легонько подрагивали. Райли стал пробираться сквозь камыши, шаря понизу зорким взглядом охотника. Потом подал мне знак. Холодная вода обжигала, но я все-таки спрыгнул с лодки и поплыл к нему. Вода вокруг камышей была чистая, здесь протока разделялась на несколько длинных луж глубиной по колено. Над одной из них наклонился Райли. В мелком бочажке лениво лежал угольно-черный сом — податься ему было некуда. Мы напрягли пальцы, так что они стали твердыми, слов-

но зубья вилок, и с двух концов подвели под него ладони. Сом метнулся и угодил прямо мне в руки. Неистово молотя острыми, словно бритва, усищами, он глубоко рассек мне ладонь, но у меня хватило соображения не выпустить его. И слава богу, потому что это единственная рыба, которую я поймал за всю свою жизнь. Люди обычно не верят, когда я рассказываю, что поймал сома голыми руками. А я говорю — ну что ж, спросите у Райли Гендерсона. Мы проделали сому сквозь жабры камышинку и поплыли обратно к лодке, держа его над головой. Райли сказал, что ему редко когда попадались такие жирнющие сомы, — принесем его к дереву, и раз уж судья нахвастался, что он такой мастер по этой части, пусть зажарит его на завтрак. Но никому так и не довелось полакомиться жареным сомом.

В это время в нашем доме на дереве творилось что-то ужасное. Пока нас не было, снова нагрянул шериф Кэндл, на сей раз с помощниками и с ордером на арест. А мы-то с Райли, ничего не подозревая, лениво брели вдоль берега, сбивали по дороге поганки и время от времени останавливались, чтоб пошвырять камешки по воде.

Еще издали мы услышали возбужденные голоса. Их звуки отдавались в лесу, словно удары топора. До меня донесся вопль Кэтрин, даже не вопль, а рев. Ноги у меня сразу обмякли, я больше не мог поспевать за Райли — он подхватил с земли сук и пустился бегом. Я рванулся в одну сторону, метнулся в другую, повернул совсем не туда, куда надо, и, наконец, выбежал на край луга. И тут я увидел Кэтрин. Платье на ней было разорвано посередке до самого низа: она была все равно что голая. Три дюжих парня, дружки шерифа — Рэй Оливер, Джек Милл и Верзила Эдди Стовер, волокли ее по траве, осыпая ударами. Так бы и растерзал их! Видно, это же было и у Кэтрин на уме, но она не могла с ними сладить, хоть и старалась изо всех сил — бодала их головой, молотила локтями. Верзила Эдди — тот был поганый ублюдок по рождению, так сказать, юридически, а вот двум другим, чтобы стать такой поганью, пришлось потрудиться самолично. Верзила бросился на меня, но я хлестнул его сомом по роже.

— Ты мне ребенка не трожь, он сирота! — вскинулась Кэтрин. Потом увидела, что он обхватил меня поперек туловища, и как закричит: — В яйца бей, Коллин! Лягни его, гада, в яйца!

И я лягнул. Верзила разом свернулся, словно скисшее молоко. Тут меня чуть не зацапал Джек Милл (тот самый, которого через год случайно захлопнули в холодильной камере и заморозили насмерть, — что же, поделом ему!), но я рванул через луг и спрятался в самой высокой траве. Впрочем, им было не до меня — с одной Кэтрин хватало хлопот: она дубасила их без передышки, а я все смотрел на нее, и до чего же мне было тошно — ничем я не мог ей помочь. Наконец все они исчезли из виду за гребнем горки, где начиналось кладбище.

Надо мной с хриплым карканьем пронеслись две вороны и снова вернулись, дважды прочертив в небе крест, словно сулили беду. Я пополз было к лесу, как вдруг совсем рядом, приминая траву, прошагали тяжелые башмаки. Это был шериф Кэндл и с ним его подручный Уилл Харрис — высоченный, как дверь, и здоровый, как буйвол. Этому Харрису прокусила горло бешеная собака. На шрамы было жутко глядеть, но еще страшней был его попорченный голос — детский, писклявый, как у липута. Они прошли так близко, что мне ничего не стоило бы развязать шнурки у Харриса на ботинках. Он что-то втолковывал шерифу, и его тонкий, пронзительный голосишко подпрыгнул — я расслышал имена Морриса Ритца и Вирены, но так и не смог разобрать, что к чему, только понял — это имеет какое-то отношение к Ритцу и Вирена послала Харриса за шерифом.

— Да что ей нужно, к чертям, этой бабе, — целую армию, что ли? — возмущался шериф. Едва они скрылись из виду, я вскочил и бросился к лесу.

Неподалеку от нашего дерева я спрятался за онахалом из папоротников — а вдруг здесь рыщет кто-нибудь из подручных шерифа? Но кругом не было ни души, только заливалась одинокая пичуга. И в доме на дереве не было никого. Дымчатые, как призраки, столбы солнца освещали его пустоту. Совершенно пришибленный, подошел я к дереву, прижался к нему лбом, и тут мне снова привиделась лодка: полощется наше белье на ветру, рдеет герань, а река несет свои воды, выносит нас в море, в широкий мир.

— Коллин! — Имя мое унало прямо с неба. — Ты? Ты что, плачешь?

Это Долли меня окликнула, но мне не было ее видно. Только забравшись на дерево, в самую его середку, я увидел высоко над собой ее ногу в детской туфле.

— Осторожнее, мальчик, — раздался голос судьи, сидевшего рядом с ней. — Как бы ты не стряхнул нас отсюда.

И правда, они примостились на самой верхушке дерева, словно чайки на мачте корабля. Долли говорила потом — оттуда такой потрясающий вид, ей просто жаль, что она раньше не удосужилась там побывать. Как выяснилось, судья вовремя заметил шерифа с помощниками, и они с Долли успели укрыться там, наверху.

— Подожди, мы сейчас, — сказала она и, держась за руку судьи, стала неторопливо спускаться, совсем как благородная дама по ступенькам парадной лестницы.

Мы расцеловались. Все еще не отпуская меня, Долли сказала:

— Она ведь пошла тебя искать — Кэтрин. Мы не знали, куда ты девался, и я так боялась, я...

Страх ее передался и мне, у меня похолодели пальцы. Она испытывала то же чувство, что перепуганный, дрожащий зверек, только что вынутый из капкана. Судья сконфуженно поглядывал на нас, все время что-то вертел в руках — видно, чувствовал себя лишним. Думал, должно быть, что предал нас, дав им схватить Кэтрин. Ну а что он, собственно, мог поделать? Если б он бросился ей на помощь, его самого бы схватили, только и всего: они сюда не за тем пожаловали, чтобы шутки шутить, — шериф и остальные. Я один был во всем виноват. Не сойди Кэтрин вниз искать меня, им бы ее вовек не поймать. Я стал рассказывать, что произошло на лугу.

Но Долли не хотела ничего знать. Словно отгоняя дурной сон, она резко отбросила вуаль с лица.

— Я все пытаюсь поверить, что Кэтрин с нами нет, — и не могу. А если б поверила, побежала б искать ее. Пытаюсь поверить, что это все натворила Вирена, — и не могу. Коллин, скажи, как ты считаешь, — может, все-таки мир и вправду плохо устроен? А ночью мне все представлялось совсем по-другому.

Судья посмотрел мне прямо в глаза, — должно быть, хотел внушить мне ответ. Но я и сам его знал. Свой собственный мир всегда хорош по-своему, какие бы страсти ни составляли его, он никогда не бывает грубым и пошлым. Мир самой Долли — тот, который она разделяла со мной и Кэтрин, — сделал ее человеком настолько высоким, что она попросту не ощущала тех вихрей подлости, что бушуют вокруг.



— Нет, Долли, мир вовсе не так уж плох.

Она провела рукою по лбу.

— Если ты верно говоришь, значит, Кэтрин вот-вот появится. Она не нашла ни тебя, ни Райли, но все равно вернется сюда.

— А кстати,— сказал судья,— в самом деле, где Райли?

Он бежал впереди меня, и с тех пор я его больше не видел. Мы с судьей, разом встревожившись, вскочили и принялись громко звать его. Голоса наши медленно облетали лес, но снова и снова наталкивались на молчание. А потом я понял: он свалился в старый индейский колодец. Таких случаев я мог бы вам рассказать сколько угодно. Только я собрался поделиться с судьей своей мыслью, как он предостерегающе приложил палец к губам. Слух у него был прямо собачий: я, например, пока ничего не слышал. Но он не ошибся — кто-то и правда шел по тропинке. Оказалось, Мод Райордэн и старшая из сестер Райли, та самая умница-разумница Элизабет. Они были душевные подружки и ходили в одинаковых белых свитерах. Элизабет несла скрипку в футляре.

— Послушай, Элизабет,— заговорил судья, и обе девочки вздрогнули от неожиданности: они еще не успели заметить нас.— Послушай, детка, ты своего брата не видела?

Мод опомнилась первая и ответила за подругу.

— Еще бы не видеть,— сказала она с ударением.— Я провожала Элизабет домой после урока, вдруг мчится Райли на бешеной скорости — миль девяносто, не меньше. Чуть не сшиб нас. Ты бы с ним все-таки поговорила, Элизабет. В общем, он просил нас сходить сюда, передать, чтобы вы не волновались; сказал — он потом сам все объяснит. Понимайте, как хотите.

Раньше мы с Мод и Элизабет учились вместе, но они перескочили через класс и в июне окончили школу. С Мод я был знаком ближе — одно лето я учился у ее матери играть на пианино. Отец ее давал уроки скрипки, и Элизабет Гендерсон была его ученицей. Мод и сама чудесно играла на скрипке; как раз за неделю до того я прочитал в городской газете, что ей предложили выступать в Бирмингеме по радио, и порадовался за нее. Райордэны были славные люди — веселые, обходительные. Уроки у миссис Райордэн я брал вовсе не потому, что хотел выучиться играть на пианино; просто мне нрави-

лась она сама, такая большая, светлая, нравились умные, душевные разговоры, которые она вела со мной у сверкающего инструмента, пахнущего политурой и усердием. Ну а больше всего мне нравилось, когда после урока Мод звала меня выпить с ней стакан лимонаду в тенечке, на задней веранде. Мод была худая, как спичка, нервная девочка с вздернутым носом и маленькими ушками; от отца она унаследовала черные ирландские глаза, а от матери — платиновые волосы, блеклые, словно раннее утро, и ничем не напоминала свою лучшую подругу, чувствительную и сумрачную Элизабет. Не знаю, о чем они говорили друг с другом, — должно быть, о музыке и о книгах, но со мной Мод болтала о мальчиках и свиданиях, обсуждала услышанные в аптеке сплетни: — Это же ужас, с какими жуткими девчонками водится Райли Гендерсон, верно? Ах, до чего жалко Элизабет! Но правда ведь, она держится изумительно, несмотря ни на что? — Совсе не надо было быть гением, чтоб догадаться — Мод равнодушна к Райли; но все-таки я одно время вбил себе в голову, будто влюблен в нее. Дома я только о ней и говорил, и под конец Кэтрин вскипела:

— Уж эта мне Мод Райордэн — до того тоща, ущипнуть не за что. Да ни один мужчина такой даже «здрасьте» не скажет — разве что полоумный какой.

Однажды я устроил Мод грандиозный кутеж: сам нарвал и приколот ей к корсажу букетик душистого горошка, повел ее в кафе Филадельфия, где нам подали бифштексы по-канзасски, а потом мы пошли танцевать в отель «У Лолы». Но когда я хотел поцеловать ее на прощанье, она сделала вид, что для нее это полная неожиданность:

— А вот это, Коллин, пожалуй, уже ни к чему, хотя с твоей стороны страшно мило, что ты меня пригласил.

Я был очень разочарован, сами понимаете, но старался не киснуть и в дружбе нашей мало что изменилось. Както раз после урока миссис Райордэн против обыкновения ничего не задала мне на дом. Вместо этого она ласково уведомила меня, что лучше нам прекратить уроки:

— Мы тебя очень любим, Коллин, и мне не к чему повторять, что в этом доме всегда тебе рады. Но, говоря откровенно, дружок, нет у тебя никаких способностей к музыке. Такое бывает, и мне кажется, было бы не очень честно — и с твоей стороны, и с моей — делать вид, будто все обстоит прекрасно.

Что ж, она была права, и все-таки самолюбие мое

было уязвлено — мне все казалось, что меня вытурили; при одной мысли о Райордэнах у меня делалось скверно на душе, и постепенно я предал их забвению — на это потребовалось примерно столько же времени, сколько на то, чтоб позабыть те несколько пьесок, которые я с таким трудом разучил. На первых порах Мод останавливала меня после школы, приглашала зайти, но я всякий раз уваливал под любым предлогом. И вообще, уже наступила зима, а в зимние дни я так любил посидеть на кухне с Долли и Кэтрин.

Кэтрин все допытывалась:

— Почему это ты больше не говоришь про Мод Райордэн?

Но я ответил — потому что не говорю. И точка.

Впрочем, хоть я и не говорил о Мод, должно быть, я все-таки думал о ней: вот и сейчас, стоило мне увидеть ее под деревом, как старое чувство сдавило мне грудь. Я впервые взглянул на нашу историю со стороны. Может, и впрямь мы все — Долли, судья и я сам, выглядим просто смешными в глазах Мод и Элизабет? Но обе они держались так, будто встретили нас на улице или в аптеке.

— Мод, как твой папа? — спросил судья. — Я слышал, он что-то неважно себя чувствует.

— Да нет, ему не на что жаловаться. Вы ведь знаете, мужчины — они такие, вечно ищут у себя какие-нибудь болезни. А вы как, сэр?

— Жаль, жаль, — рассеянно ответил судья. — Ну, ты кланяйся от меня папе, передай — я надеюсь, что ему уже лучше.

Мод с готовностью согласилась:

— Спасибо, сэр, передам. Я знаю, ему будет приятно ваше внимание.

Тщательно уложив складки на юбке, она опустилась на мох и усадила рядом с собой упирившуюся Элизабет.

Никто никогда не называл Элизабет уменьшительным именем. Начнешь говорить ей «Бетти» — смотришь, через неделю она снова «Элизабет», так уж она действовала на людей. Она была томная, вся словно без костей. Черные, прямые волосы свисали вдоль сонного лица, и временами оно казалось ликом святой: недаром в эмалевом медальоне, висевшем на ее стройной, как стебель лилии, шее, она носила портрет своего отца, миссионера.

— Посмотри-ка, Элизабет,— правда, у мисс Долли славная шляпка? Бархатная, с вуалеткой.

Долли встала, потрогала голову.

— Вообще-то я шляп не ношу, но мы собирались путешествовать.

— Да, мы слышали, что вы ушли из дому,— сказала Мод и добавила уже более откровенно: — По правде сказать, все только об этом и говорят. Верно, Элизабет?

Элизабет равнодушно кивнула.

— Господи, до чего же странные слухи ходят! Понимаете, по дороге сюда нам попался Гэс Хэм, так он говорит — эту цветную, Кэтрин Крюк (так ее, кажется?), арестовали за то, что она запустила в миссис Бастер банкой из-под варенья.

Долли проговорила замирающим голосом:

— Кэтрин... не имеет к этому... ни малейшего отношения.

— Но кто-то же ее все-таки стукнул,— возразила Мод.— Мы видели миссис Бастер утром на почте, она всем показывает свою шишку — довольно изрядная. И как будто бы настоящая. Верно, Элизабет? — Элизабет зевнула.— Мне-то решительно все равно, кто ее стукнул. Я считаю, тому человеку надо выдать медаль.

— Нет,— со вздохом ответила Долли.— Нехорошо получилось. Никуда это не годится. Всем нам еще о многом придется пожалеть.

Наконец Мод обратила внимание на меня:

— А ты мне как раз нужен, Коллин,— сказала она торопливо, словно пытаюсь скрыть смущение — мое, а не свое.— Мы тут с Элизабет затеяли вечеринку на день всех святых, только чтоб костюмы и вправду были страшные-престрашные. И вот мы подумали — здорово будет, если тебя нарядить скелетом и ты сядешь в темную комнату и будешь нам гадать. Ты ведь мастер...

— ...сказки рассказывать,— равнодушно докончила Элизабет.

— А гаданье и есть те же сказки,— уточнила Мод.

Уж не знаю, с чего они взяли, что я такой враль. Правда, в школе, когда нужно было выкручиваться, я проявлял сверхъестественные таланты. Я сказал — что ж, вечеринка, это, конечно, здорово, но лучше им на меня не рассчитывать: к тому времени мы, может, окажемся за решеткой.

— Ну, если так... — протянула Мод, как бы принимая

очередную мою отговорку: я вечно что-нибудь придумывал, лишь бы не идти к ним домой.

— А кстати, Мод,— сказал судья, нарушив неловкое молчанье.— Ты у нас становишься знаменитостью: я читал в газете, ты будешь выступать по радио?

Словно грезя наяву, Мод стала рассказывать: эта передача — финал конкурса на премию штата; если она выйдет на первое место, то получит стипендию в университете; даже если на второе, и то дадут половину стипендии.

— Я сыграю папину музыку — серенаду. Он сочинил ее для меня в тот день, когда я родилась. Только это сюрприз, я не хочу, чтоб он знал.

— Заставьте ее вам сыграть,— сказала Элизабет, расстегивая футляр скрипки.

Мод была добрая, ее не пришлось долго упрашивать. Она нежно прижала к подбородку темно-красную скрипку и стала ее настраивать,— раздались глубокие вибрирующие звуки. Нахальная бабочка, усевшаяся было на кончик смычка, вспорхнула и закружилась, смычок помчался по струнам и запел. Это был вихрь летящих бабочек, сигнальная ракета весны, и радостно было слышать ее мелодию в обнажающемся осеннем лесу. Музыка становилась медленнее, печальней, и вот уже серебряные волосы Мод упали на скрипку. Мы заплодировали, а когда кончили, чья-то таинственная пара рук все еще продолжала хлопать. Из-за папоротников показался Райли, и Мод порозовела, увидев его. Думаю, если б она знала, что он ее слушает, ей бы так хорошо не сыграть.

Райли велел девочкам отправляться домой. Видно было, что уходить им не хочется, но Элизабет не привыкла перечесть брату.

— Запри двери,— наказал он ей.— И вот что: Мод, хорошо бы тебе остаться у нас ночевать. Ну, а спросит кто-нибудь, где я, скажите — не знаем.

Мне пришлось помочь ему забраться наверх — он притащил ружье и полный рюкзак провизии: бутылку настойки, апельсины, сосиски, сардины, свежие булочки из пекарни «Зеленый кузнечик» и в довершение всего большущую коробку крекера в форме разных зверюшек. По мере того как он доставал эту снедь, настроение у нас повышалось, а крекер вконец растрогал. Долли — она объявила, что Райли надо расцеловать.

Но от его рассказа лица у всех сразу вытянулись.

Когда мы с ним разлучились, он побежал на голос Кэтрин и очутился на лугу. Тут он стал свидетелем моей схватки с Верзилой Эдди. Я спросил — чего же ты мне не помог? А он говорит — ты и сам с ним отлично справился; теперь Верзила тебя не скоро забудет — бедняга еле тащился, его совсем скрючило. И потом, сказал Райли, он так рассудил: никто ведь не знает, что он теперь наш, что он вместе с нами живет на дереве. Выходит, он тогда правильно сделал, что спрятался, — зато смог поехать следом за подручными шерифа, когда те повезли Кэтрин в город. Они швырнули ее на откидное сиденье старой малолитражки Эдди Стовера и покатали прямо в тюрьму. Машина Райли шла позади.

— Когда мы подъехали к тюрьме, Кэтрин вроде бы успокоилась. Там уже начал собираться народ — ребяташки, старики-фермеры. Вы могли бы ею гордиться: она шла сквозь толпу вот так вот. — И он с королевским видом слегка склонил голову набок.

Как часто видел я у Кэтрин этот жест, особенно когда кто-нибудь выговаривал ей (за то, что прятала кусочки от картинок-загадок, за то, что плела небылицы, за то, что никак не хотела вставлять себе зубы); Долли тоже узнала его и стала сморкаться.

— Но только она вошла в тюрьму, как тут же опять устроила бучу.

В тюрьме всего-навсего четыре камеры — две для цветных, две для белых. Так Кэтрин объявила, что в камеру для цветных не пойдет.

Судья потер подбородок, покачал головой:

— А поговорить с ней тебе не удалось? Надо было хоть как-то дать ей знать, что один из нас там, — все-таки ей стало бы легче.

— Я все стоял внизу, — думал, может, она подойдет к окошку. Но потом услышал другие новости.

Вспоминая теперь тот разговор, я просто диву даюсь, как мог тогда Райли так долго молчать об этом. Ведь что оказалось, господи, боже мой: наш дружок из Чикаго, этот гнус Моррис Ритц, смылся из города, прихватив из сейфа Вирены на двенадцать тысяч оборотных ценных бумаг и семьсот с лишним долларов звонкой монетой (как мы узнали потом, на самом деле он стибрил в два с лишним раза больше). И тут меня осенило — так вот про что говорил тогда шерифу пискля Уилл Харрис. Что ж удивительного, если Вирена спешно послала за

шерифом, — все ее тревоги, вызванные нашим уходом, сразу же отошли на задний план. Мы узнали от Райли и кое-какие подробности. Обнаружив, что дверца сейфа распахнута (дело было в конторе, над магазином готового платья), Вирена стрелой понеслась в отель «У Лолы», а там говорят — Моррис Ритц накануне вечером выбыл. Вирена упала в обморок. Ее привели в чувство, но она тут же упала снова.

Мягкое лицо Долли разом осунулось. Ее все сильнее тянуло пойти к Вирене и в то же время удерживала вновь обретенная воля, новое ощущение, что она — сама по себе. Она посмотрела на меня с сожалением:

— Лучше тебе узнать это сейчас, Коллин, вовсе не зачем ждать, пока доживешь до моего возраста: мир и вправду устроен плохо.

И тут с судьей произошло превращение, внезапное, как перемена ветра: он сразу стал выглядеть на все свои семьдесят, стал скучный, осенний, как будто Долли, признав, что на свете есть подлость, тем самым отреклась от него. Но я-то знал, что не отреклась: он назвал ее живою душой, а на самом деле она была живой женщиной. Откупорив бутылку с настойкой, Райли наполнил золотистой, как топаз, жидкостью четыре стакана, подумал и налил пятый, для Кэтрин. Судья провозгласил тост:

— За Кэтрин!

Мы подняли стаканы.

— Ох, Коллин, — проговорила Долли, взволнованная внезапной мыслью, и глаза ее расширились. — Ты да я, только мы двое на всем свете можем хоть слово разобрать из того, что она говорит!

## Глава V

Назавтра была среда, первое октября, и этого дня мне не забыть никогда.

Все началось с того, что Райли разбудил меня, наступив мне на пальцы. Я чертыхнулся, и Долли — она уже не спала — тут же потребовала, чтоб я попросил у Райли прощения. Быть вежливым, сказала она, всего важней по утрам, особенно когда живешь в такой тесноте. Часы судьи, тяжелым золотым яблоком клонившие ветку книзу, показывали шесть минут седьмого. Уж не

знаю, чья это была мысль, но позавтракали мы апельсинами, крекером и холодными сосисками. Судья ворчал, что, пока не выпьешь горячего кофе, не чувствуешь себя человеком, и все мы сошлись на том, что кофе нам не хватает больше всего. Тогда Райли вызвался съездить за ним в город, а заодно разузнать, что там делается. Он предложил и меня захватить.

— Никто его не увидит, пусть только ляжет на сиденье и не встает всю дорогу.

И хоть судья стал было возражать, что это просто ребячество подвергаться такому риску, Долли сразу же поняла, до чего мне хочется с ним поехать, — ведь я так мечтал прокатиться в машине Райли, — и теперь, когда случай представился, ничто — даже мысль, что меня все равно никто не увидит, — не могло охладить моего пыла. И Долли сказала:

— По-моему, беды никакой не будет. Вот только надо бы тебе рубашку сменить, а то у этой на воротах хоть тюльпаны выращивай.

На лугу не было слышно ни голосов травы, ни осторожного шуршанья взлетающих украдкой фазанов. Листья индейской травы, вытянутые, острые, словно окрашенные кровью, казались стрелами, усеявшими поле битвы; они ломко похрустывали у нас под ногами, пока мы взбирались на горку, к кладбищу. Вид оттуда, сверху, чудесный: бескрайняя подрагивающая поверхность Приречного леса, миль на пятьдесят вокруг — возделанные поля с ветряками, далеко-далеко — островерхая башня суда и дымящие трубы города. У отцовской и материнской могил я задержался. Я редко бывал здесь, меня удручал могильный холод камня, такой непохожий на то, что я помнил о них, — как они были живыми, и как она плакала, когда он уезжал продавать свои холодильники, и как он выбежал раздетым во двор. Мне захотелось наполнить цветами вазы из терракоты, пустевшие на перепачканном, в грязных потеках мраморе. Райли помог мне: он наломал веток японской айвы с распустившимися бутонами и, глядя, как я ставлю их в вазы, сказал:

— Хорошо, что мать у тебя была славная. В общем-то они суки.

И я подумал — не о своей ли это он собственной матери, бедняге Розе Гендерсон, заставлявшей его скакать на одной ножке вокруг двора и твердить вслух таблицу



умножения? Впрочем, на мой взгляд, он успел достаточно вознаградить себя за эти тяжелые годы. Что ни говори, а у него была роскошная машина, — по слухам, он отвалил за нее три тысячи долларов. И это за подержанную, заметьте. Машина была заграничная — «альфа-ромео» («альфа» пылкого Ромео, как острили в городе) — со складным верхом и откидным задним сиденьем; он купил ее в Новом Орлеане у какого-то политика, которого должны были упечь в каторжную тюрьму.

Пока мы мчали к городу по немощеному проселку, я все надеялся, что нам попадетя навстречу хоть одна живая душа: если бы кое-кто увидел, как я качу в машине Райли Гендерсона, это было бы мне прямо как маслом по сердцу. Но час был слишком ранний, и на улицах никто не показывался. Завтрак еще стоял на плите, и над трубами пронесившихся мимо домов поднимался дымок. У церкви мы свернули за угол, объехали вокруг городской площади и остановили машину в грязном проулке между конюшней Купера и пекарней «Зеленый кузнечик». Тут Райли вышел, наказав мне носа не высовывать из машины, и обещал, что вернется не позже чем через час. И вот, растянувшись на сиденье, я слушал заушную болтовню ворюг-воробьев, промышлявших в яслях конюшни, вдыхал доносившийся из пекарни запах свежего хлеба и смородинно-терпкий дух пряностей. Хозяевам булочной — Каунти была их фамилия, — мистеру и миссис Каунти приходилось вставать в три утра, чтобы успеть все приготовить к открытию, к восьми часам. Булочная у них была чистенькая, торговля шла бойко — миссис Каунти могла покупать себе самые дорогие платья в магазине Вирены. Я лежал, вдыхая вкусные запахи, как вдруг задняя дверь пекарни распахнулась и появился мистер Каунти с метлой в руке — он выметал прямо в проулок мучную пыль. Должно быть, он удивился, заметив машину Райли, а потом удивился еще раз, обнаружив, что я там разлегся.

— Коллин, ты что это затеваешь?

— Ничего, мистер Каунти, — ответил я, а сам подумал — интересно, знает ли он о наших мытарствах.

— Слава богу, наконец-то октябрь на дворе, — сказал мистер Каунти и потер пальцами воздух, словно пронизывающая его прохлада ощущалась на ощупь, как ткань. — Летом нам ужас до чего тяжко: от печей и вообще от всего такой жар, прямо душа с телом расстаётся.

Слышь, сынок, там тебя пряничный мальчик дожидается — заходи и расправься-ка с ним как следует.

Нет, не такой он был человек, чтобы позвать меня, а самому побежать за шерифом.

Его жена так радушно встретила меня в жаркой, пропахшей пряностями пекарне, словно своим появлением я доставил ей величайшее удовольствие. Миссис Каунти понравилась бы хоть кому. Это была плотная женщина с неторопливыми движениями. Ноги — как у слона, руки сильные, мускулистые, на пухлом лице, неизменно пунцовом от печного жара, сахарной глазурью голубеют глаза, волосы белые, словно она обтирала ими кадку из-под муки. И всегда она в длинном, до полу, фартуке. И муж ее тоже. Иной раз я видел, как он, уловив свободную минуту, прямо в этом длиннющем фартуке перебегает дорогу и сворачивает за угол, в кафе Филадельфии, чтобы выпить кружечку пива с завсегдатаями, привалившимися к стойке, — ни дать ни взять клоун, размалеванный, припудренный, весь словно на шарнирах, угловатый и вместе с тем не лишенный изящества.

Усадив меня и расчистив место на разделочном столе, миссис Каунти поставила передо мной чашку кофе и противень теплых булочек с корицей — Долли обожала такие. Но мистер Каунти сказал — мне, наверно, совсем другого хочется:

— Я тут ему кое-что обещал. А ну-ка, что? Пряничного человечка, вот что.

Его жена шмякнула о стол большой кусок теста.

— Пряники — это для детишек. А он — взрослый мужчина, почти что взрослый. Коллин, сколько тебе сравнялось?

— Шестнадцать.

— Как и нашему Сэмюэлу, — сказала она. Сэмюэл был ее сын, мы все звали его Мюл или попросту Мул; и правда, умом он недалеко ушел от мула. Я спросил, какие о нем вести. Оставшись на третий год в восьмом классе, Мул прошлой осенью сбежал в Пенсаколу и поступил во флот.

— Он в Панаме, последний раз оттуда писал, — ответила миссис Каунти, раскатывая тесто для пирогов. — Не больно-то он балует нас письмами. Я ему раз написала — ты, дескать, Сэмюэл, лучше пиши нам, а то вот возьми да отпиши президенту, сколько тебе по правде годов. Ведь он, понимаешь, обманом во флот попал. Ух,

до чего ж я тогда разъярилась, мать честная! Прихожу в школу и давай мистера Хэнда жучить: Сэмюэл, говорю, потому и удрал, что не мог он такого стерпеть — без конца его в восьмом классе оставляют, он уже вон какой вымахал, а другие ребятишки махонькие совсем. Ну, а теперь до меня дошло — мистер Хэнд, он прав был: несправедливо было бы перед вами, ребята, если б он Сэмюэла тогда перевел — парень-то не занимался путем. Так что оно, может, и к лучшему вышло. К. К., — обратилась она к мужу, — покажи ему карточку.

На фоне пальм и самого что ни на есть настоящего моря стояли, держась за руки и глупо ухмыляясь, четыре матроса. Внизу была надпись: «Благослови господь маму и папу. Сэмюэл». Карточка растравила меня. Мул где-то там смотрит мир, а я... Что ж, может, я ничего и не заслужил, кроме пряничного человечка. Я вернул карточку, и мистер Каунти сказал:

— По мне что ж, это хорошо, пускай мальчик послужит родине. Одно только худо — как раз теперь Сэмюэл нам бы тут очень сгодился. Терпеть не могу нанимать черномазых. Врут, обкрадывают. Никогда с ними не знаешь, на каком ты свете.

— У меня просто глаза на лоб лезут, когда К. К. начинает такое нести, — сказала миссис Каунти и сердито поджала губы. — Знает ведь, что меня это бесит. Цветные ничем не хуже белых. А некоторые еще и получше. У меня были случаи это нашим здешним вернуть. Взять хоть историю со старой Кэтрин Крик. Как вспомню, тошно становится. Ну пускай она другой раз блажит, ну чуждачка она, да ведь женщина-то какая хорошая, таких поискать. Эх, я же хотела послать ей обед в тюрьму: бьюсь об заклад, у шерифа там стол не больно шикарный.

...Да, раз все в жизни переменилось, прошлого не воротишь... Стало быть, мир знает о нас... Нет, больше нам никогда не согреться... Воображение мое разыгралось: я уже видел — на иззябшее дерево наступает зима, и я плакал, плакал, я разваливался на куски, как истлевшая от дождей веточка. Выплакаться мне хотелось с тех самых пор, как мы ушли из дому. Миссис Каунти сказала: — Ты уж прости меня, если я что не так говорю, — и принялась утирать мне лицо замызганным фартуком, и оба мы рассмеялись, да и как было не смеяться — я весь был перемазан клейстером из слез и муки, — и меня, как говорится, отпустило: с сердца словно ка-

мень свалился. Мистер Каунти, подавленный этим потоком слез, ретировался в булочную, и я понял — это он по-мужски, но мне все равно не было стыдно.

Миссис Каунти налила себе кофе, присела к столу.

— По правде сказать, я не очень-то понимаю, что там у вас происходит. Я так слышала, будто мисс Долли не стала вести хозяйство, потому как у них нелады с Виреной?

Мне хотелось ответить, что на самом деле все гораздо сложнее, но когда я попробовал восстановить ход событий, меня вдруг взяло сомнение — полно, а так ли это?

— Ну вот, — задумчиво сказала она, — может, тебе покажется, я против Долли говорю. Ничего подобного. Я только считаю — всем вам, братцы, надо вернуться домой, и пускай Долли помирится с Виреной. Она и всегда-то ей уступала, а уж теперь, в ее возрасте, ничего не переиначишь. И потом — это дурной пример для всего города: две сестры рассорились, и одна из них залезла на дерево. Ну, а судья Чарли Кул — знаешь, первый раз в жизни я пожалела этих его сыночков. Нет, видные граждане, они должны себя достойно держать, а не то все в шаткость придет. Между прочим, видел ты старый фургон на площади? Нет? Так сходи, посмотри. Ковбойская семья. К. К. говорит — евангелисты они. Ну, а я только одно знаю, — тут из-за них такая поднялась буча, и Долли к этому делу каким-то концом приплели. — Серdito попыхтев, она надула бумажный пакет. — Ты ей передай, что я так и сказала: возвращайтесь, мол, домой. На, Коллин, тут для Долли булочки с корицей. Я знаю, она их обожает.

Когда я вышел из пекарни, часы на здании суда пробили восемь. Значит, было половина восьмого. Эти часы всегда спешили на тридцать минут. Однажды откуда-то привезли опытного мастера, чтобы их починил. Проковырявшись неделю, часовщик объявил — единственное, что тут может помочь, это пашка динамита. И все равно муниципалитет решил уплатить ему сполна — в городе все гордились, что часы у нас такие неисправимые.

В разных концах площади лавочники готовились открывать свои заведения: взбивали метлами пыль у дверей, выкатывали мусорные контейнеры, грубо разрывая легкую тишину прохладных улиц. В витрине «Ранней пташки» — бакалеи получше Вирениной лавки «Все на пятак» — двое мальчишек-негров расставляли кон-

сервные банки с гавайскими ананасами. На южной стороне площади, за камышовыми скамейками, на которых в любое время года посиживали тихие, доживающие свой век старички, я увидел фургон — про него-то и говорила мне миссис Каунти. Это был просто старый грузовик, только крытый брезентом, — хитроумная уловка, чтобы придать ему сходство с фургонами первых западных колонистов. Он одиноко маячил на пустынной площади, и вид у него был сиротливый и страшно нелепый. Вдоль верха кабины, словно акулий плавник, протянулся большой самодельный щит с надписью: «*Дайте Мальшу Гомеру Медоу заарканить вашу душу для господ нашего*». На другой стороне щита вспучившейся зеленоватой краской была намалевана ухмыляющаяся физиономия, над ней красовалась ковбойская шляпа с высоченной тульей. В жизни бы не подумал, что тут изображено человеческое существо, но, судя по надписи, это и был чудо-ребенок Гомер Медоу. Больше смотреть было не на что — около грузовика не было ни души, и я зашагал к тюрьме, кирпичной коробке, находившейся по соседству с конторой фордовской компании. Однажды я был там внутри — Верзила Эдди Стовер зазвал туда с десяток взрослых ребят, был с ними и я. В тот раз зашел Верзила в аптеку и говорит нам — пошли все в тюрьму, что я вам покажу! Достопримечательностью оказался смазливый, худой цыганенок, они его сняли с товарного поезда. Верзила дал ему четвертак и велел спустить штаны. Мы глазам своим не поверили, и кто-то из мужчин брякнул:

— Эй, парень, чего ж ты сидишь под замком, когда у тебя этакий лом есть?

Долго потом, чуть не с месяц, можно было сразу узнать тех девчонок, которые уже слышали эту шутку: как идут мимо тюрьмы, всякий раз начинают хихикать.

Торцовую стену тюрьмы украшает довольно странный рисунок. Я спрашивал про него Долли, и она сказала — помнится ей, в дни ее молодости это была реклама конфет. Если и так, то надпись уже совершенно стерлась, а то, что осталось, напоминает запачканный мелом гобелен: два трубящих розовых, как фламинго, ангела парят над огромным рогом изобилия, наполненным фруктами, будто рождественский чулок. Этот рисунок на кирпичной стене похож на потускневшую фреску, едва приметную татуировку, и под лучами солнца зато-

ченные ангелы трепещут, словно души арестантов. Я понимал, что мне опасно разгуливать у всех на виду, но все же прошел мимо тюрьмы, снова вернулся, свистнул и позвал шепотом: «Кэтрин, Кэтрин!» — может, она догадается подойти к окну. Я понял, какое окно ее: на подоконнике за решеткой поблескивал аквариум. Потом я узнал, что это была единственная вещь, которую она просила передать ей в тюрьму. Рыбки оранжевыми бликами проплывали вокруг кораллового замка, и мне вспомнилось утро, когда я помог Долли все это найти — и замок, и разноцветные камешки. То было начало, и меня вдруг бросило в дрожь при мысли о том, какой сейчас будет конец, — Кэтрин, холодной тенью глядящая на меня сверху, из окошка тюрьмы; я стал молиться, чтоб она не подходила к окну — она все равно никого бы не увидела: я повернулся и побежал прочь.

Мне пришлось прождать Райли в машине два часа с лишним. Когда он наконец объявился, то был в таком раздражении, что я не посмел показать свое собственное. Выяснилось, что он зашел домой и застал там такую картину: обе его сестры и Мод Райордэн — она у них ночевала — еще не жились в постелях; по всей гостиной валялись окурки и бутылки из-под кока-колы. Мод приняла всю вину на себя: сказала, что это она пригласила кое-кого из мальчиков потанцевать и послушать радио. Но досталось не ей, а сестрам Райли, Энн и Элизабет: он вытащил их из кроватей и здорово отхлестал. То есть как это — отхлестал? — удивился я. А так, говорит, положил к себе на колени и отхлестал теннисной туфлей. Я просто не мог себе такого представить: до того это не вязалось с достоинством Элизабет, а я так остро его ощущал. Уж очень ты с ними крут, с этими девочками, сказал я и мстительно добавил: Мод Райордэн, вот она и вправду испорченная. Он принял мои слова за чистую монету. Да, говорит он, и ее собирался выдрать, хотя бы за то, что она его так обзывала, он этого ни за что никому не спустит; но только он ее не поймал — она отперла заднюю дверь и была такова...

Волосы Райли, обычно взлохмаченные, сейчас были тщательно прилизаны и блестели от бриллиантина, он благоухал сиреневой водой и пудрой. Ему незачем было объяснять мне, что он заходил к парикмахеру и для чего.

В те времена парикмахерскую у нас держал человек совершенно особенный, такой Амос Лэгрэнд, теперь уж

он ушел на покой. Люди вроде шерифа Кэндла — а между прочим, и Райли Гендерсон, да вообще все — называли его не иначе, как старая баба. Но говорилось это беззлобно: многие любили поболтать с Амосом, искренне желали ему добра. Маленький, как обезьянка, — чтобы постричь клиента, он становился на ящик, — Амос всегда был возбужден и беспрерывно трещал, словно пара кастаньет. Всем своим постоянным клиентам без различия пола он говорил «котик».

— Котик, — говорил он, бывало, — вам самое время подстричься. А то я уже собирался преподнести вам пачку заколок.

Амос обладал одним сверхъестественным даром: с любым человеком, будь то солидный коммерсант или десятилетняя девочка, он умел завести разговор о том, что тому действительно интересно: и за сколько Бен Джонс продал весь урожай земляного ореха, и кто приглашен на рождение к Мэри Симпсон.

К нему-то, понятное дело, и направился Райли, чтобы узнать новости. Мне он, конечно, потом рассказал только суть, но я так и видел Амоса, так и слышал — вот он стрекочет, словно колибри:

— Да, котик, такие, значит, дела; вон оно как получается, когда деньги валяются где попало. Должно же такое было стрястись, и с кем, с Виреной Тэлбо. А мы-то думали, она как заполучит никель, так сразу же тащится с ним в банк. Двенадцать тысяч семьсот долларов. И сдается мне, это еще не все. Вирена и этот доктор Ритц как будто бы собирались сообща открыть дело, для того она и купила старый консервный завод. Так вот, представьте, Ритц получил от нее десять тысяч на закупку машин, каких — одному богу известно, а теперь выясняется: ни одного завалящего винтика он не купил. Все прикарманил. А его самого словно ветром сдуло. Теперь лови его в Южной Америке, ищи-свищи. Я не из тех, кто распускал сплетни, будто у них шуры-муры с Виреной. Я всегда говорил — Вирена Тэлбо, она со странностями; и потом, котик, у этого Ритца перхоти, в жизни такого не видел. Но кто ж его знает, хоть она женщина дошлая, а может, и вправду влюбилась. И вдобавок история с ее сестрой, весь этот тарарам, что ж удивительного, если док Картер держит ее на уколах? Но Чарли Кул — вот от кого у меня глаза на лоб лезут. Как это вам понравится, сидит там в лесу, смерти ищет!

Из города мы выскочили, почти не касаясь земли. Хлоп, щелк — стучались насекомые о ветровое стекло. Вокруг нас свистела тугая накрахмаленная голубизна, на небе не было ни облачка. Но готов поклясться — кости мои всегда чуяли приближающуюся грозу. Обычно это удел стариков, а у молодых бывает сравнительно редко. Чувство такое, будто в суставах глухо ворчит отсыревший гром. По тому, как ныли кости, я уже знал — надвигается ураган, никак не меньше. Так я и сказал Райли, а он говорит — да брось ты, спятил, что ли, глянь на небо. Мы как раз заключали пари, как вдруг на опасном повороте, откуда, кстати, идет прямая дорога на кладбище, Райли вздрогнул и резко затормозил. Машину заносило так долго, что можно было припомнить всю свою жизнь до мельчайших подробностей.

Но Райли был тут совсем ни при чем. По середине дороги с трудом, как охромевшая корова, тащился фургон Малыша Гомера Медоу. Раздался предсмертный ляг обессилевшего механизма, и фургон остановился, как вкопанный. Из кабины вылезла женщина — машину вела она.

Была она уже немолода, но в покачивании ее бедер было столько живости, а грудь под тесной персикового цвета кофточкой подпрыгивала так выразительно. На ней была замшевая юбка с бахромой, высокие, до колен, ковбойские башмаки, но зря она их носила: сразу бросалось в глаза, что самое в ней красивое это ноги, если б их только было получше видно. Женщина прислонилась к дверце кабины. Веки ее опустились, словно не выдержав тяжести ресниц; кончиком языка она облизнула ярко-красные губы.

— С добрым утром, приятели, — сказала она, и голос ее был, как запальный шнур с пашкой взрывчатки на конце. — Будьте ласковы, объясните, как мне проехать.

— Да что тут у вас стряслось, черт подери? — спросил Райли, переходя в наступление. — Мы из-за вас чуть не перевернулись.

— Удивляюсь еще, как вы это заметили, — ответила женщина, дружелюбно вскидывая крупную голову. Ее волосы — какого-то диковинного абрикосового цвета — были старательно уложены, и выбившиеся из прически локоны казались примолкшими колокольчиками.

— Уж очень вы гоните, дружок, — с добродушным укором сказала она, обращаясь к Райли. — Я так думаю,



против этого должен быть закон. Вообще-то законы есть против всего на свете, особенно тут, у вас.

— А нужен бы закон против этаких колымаг,— огрызнулся Райли.— Куча лома на колесах! И как только разрешают на такой ездить!

— Верно, дружок,— рассмеялась женщина.— Что ж, давайте меняться. Только боюсь, нам не втиснуться в вашу машину; нам и в фургоне-то тесновато. Сигареты у вас не найдется? Вот чудно. Спасибо.

Пока она закуривала, я заметил, что руки у нее увядшие, загрубевшие, ногти без лака, а один совсем черный,— должно быть, она прищемила его дверцей.

— Мне сказали, так можно проехать к мисс Тэлбо. К мисс Долли Тэлбо. Говорят, она живет на дереве. Будьте ласковы, покажите нам где...

В это самое время за ее спиной из фургона выгружался целый сиротский приют: рахитичные карапузы, еле-еле ковылявшие на кривых ножках; белобрысые пострелята, пускавшие длинные сопли; девочки, которым уже впору было носить бюстгальтеры, и целая лесенка мальчиков постарше, среди них и совсем большие. Я насчитал уже десять штук — в том числе двух косоглазых близнецов и грудного младенца (его держала на руках девчушка лет так пяти, не больше), — а они все выскакивали и выскакивали, как кролики из цилиндра фокусника, и множились на глазах, и под конец запрудили дорогу.

— Это все ваши? — спросил я. Мне и впрямь сделалось жутковато: при вторичном подсчете их набралось пятнадцать. Один мальчуган лет двенадцати в маленьких очках в стальной оправе щеголял в ковбойской шляпе с высокой тульей — ни дать ни взять ходячий гриб. Почти на каждом были какие-нибудь ковбойские причудалы — высокие ботинки или хотя бы шейный платок. Но вид у них был довольно пришибленный, заморенные какие-то, словно годами сидят на вареной картошке и луке. Они сгрудились вокруг машины безмолвные, как привидения, только самые маленькие лупили по фарам или усердно подскакивали, взобравшись на крылья машины.

— Уж это, дружок, как есть. Все мои,— ответила женщина и шлепнула крошечную девчушку, карабкавшуюся ей на ногу.— Иной раз мне, правда, сдается — мы подцепили парочку чужих.— Она повела плечами, и

дети заулыбались, видно было, что они в ней души не чают.— Кой у кого из них отцы померли, у остальных, надо думать, живы — так ли, этак ли. Но нам до них и дела нет. По-моему, вас вчера не было на нашем молитвенном собрании. Так вот, я сестра Айда, мать Малыша Гомера Медоу.

Тут я спросил, который из них Малыш Гомер. Сощурившись, она обежала их взглядом и указала на мальчугана в очках. С трудом удерживая на голове огромную шляпу, он приветствовал нас:

— Слава Иисусу! Свистульку не купите? — И, раздувая щеки, засвистел в жестяную свистульку.

— Берите,— сказала сестра Айда и поправила локонь на затылке.— До чего ими здорово сатану отпугивать! И для других дел сгодятся.

— Четвертак,— деловито объявил мальчуган. Рожца у него была озабоченная и белая, как крем для лица, шляпа все время сползала ему на брови.

Будь у меня деньги, я б непременно купил — сразу видно было, что они голодные. Райли тоже понял это,— во всяком случае, он вынул пятьдесят центов и взял две свистульки.

— Благослови вас господь! — отчеканил Малыш Гомер и тут же стал пробовать монету на зуб.

— Сейчас столько фальшивых денег ходит,— извиняющимся тоном пояснила его мать.— Уж, казалось бы, в нашем деле такого бояться нечего, а вот поди ж ты...— Она вздохнула.— Так вы будьте ласковы, покажите, куда нам теперь. А то нам долго не продержаться, бензин почти весь вышел.

Но Райли сказал — она попусту тратит время:

— Там уже никого нет,— бросил он, включая мотор. За нами стояла другая машина, мы закрывали ей путь, и водитель раздраженно сигналил.

— Как, ее уже нет на дереве? — жалобно прокричала сестра Айда, перекрывая нетерпеливый рев мотора.— А где же тогда ее искать? — Она протянула к машине руки, пытаясь удержать ее.— У нас к ней такое важное дело... У нас...

Райли рывком бросил машину вперед. Я оглянулся — они стояли в поднятых нами густых клубах пыли и смотрели нам вслед. У меня стало скверно на душе, и я сказал — все-таки надо было узнать, что им нужно.

— А может, я и так знаю,— ответил Райли.

И правда, он много чего разузнал — Амос Легрэнд очень подробно его информировал насчет сестры Айды. Сама она прежде у нас не бывала, но Амос — он время от времени совершал вылазки в ближние городки — уверял, что видел ее однажды на ярмарке в Боттле, центре нашего округа. Преподобному Бастеру, видимо, тоже было о ней кое-что известно: не успела она приехать, как он разыскал шерифа и стал требовать, чтобы тот именем закона запретил Малышу Гомеру и всей его труппе устраивать у нас в городе молитвенные собрания. Вымогатели, вот они кто, твердил он, а уж так называемая сестра Айда в шести штатах известна как отъявленная потаскуха. Ведь это подумать только — пятнадцать детей, а мужа в помине нет! Амос тоже был совершенно уверен, что она никогда не была замужем, но все же считал, что женщина столь плодовитая заслуживает уважения. А шериф заявил преподобному Бастеру, что с него и своих напастей хватит. И вообще, может, тем пятерым дуралеям правильная пришла мысль: посиживают себе на дереве и не лезут в чужие дела; он и сам готов за пятак все бросить и податься к ним в лес. Тогда старый Бастер ему говорит — раз так, значит, он не годится в шерифы и пускай отдает свой значок.

В общем, сестра Айда, не встретив препятствий со стороны закона, созвала на площади под дубами молитвенное собрание. У нас в городке обновленцы вообще популярны: у них — музыка, можно собраться на вольном воздухе и попеть. А на долю сестры Айды с семейством выпал особенно шумный успех. Даже Амос, обычно настроенный критически, сказал Райли, что тот многое потерял. У этих деток глотки луженые, ничего не скажешь, а уж Малыш Гомер — просто гвоздь парень: он и плясал, и веревку крутил. Словом, все получили полное удовольствие, кроме преподобного Бастера с супругой. Они только за тем и явились, чтобы затеять свару. А когда ребяташки стали натягивать Бельевую веревку господа бога — толстый жгут с прищепками для белья, чтобы было куда засовывать пожертвования, — его преподобие и миссис Бастер окончательно взбеленились: те самые люди, которые сроду ни одного никеля не положили в церковную кружку Бастера, сейчас вешали на веревку долларовые бумажки. Этого Бастер, конечно, стерпеть не мог. Он тут же понесся на Тэлбо-лейн, где имел короткую, но очень дипломатическую беседу с Ви-

реной, без чьей поддержки, как он понимал, ему не добиться от шерифа решительных действий. Амос рассказывал: чтоб раззадорить Вирену, его преподобие наплел ей, что вот-де какая-то шлюха из обновленцев обзывает Долли богоотступницей, нехристью, и, если Вирене дорога честь семьи Тэлбо, ее долг сделать все, чтобы женщину эту немедленно выгнали из города. Вряд ли сестра Айда в то время хотя бы слышала фамилию Тэлбо. Но Вирена, хоть и была больна, рьяно взялась за дело. Позвонила шерифу и сказала ему — вот что, Джунуис: чтобы эти бродяги сейчас же выкатывались из нашего округа. То был приказ, и старый Бастер взял на себя проследить за его выполнением. Он пошел вместе с шерифом на площадь, где сестра Айда и ее выводок прибирали после молитвенного собрания. Дело кончилось форменной потасовкой, и все из-за Бастера: он объявил, что они провели незаконный денежный сбор, а значит, все, что им повешали на Бельевую веревку господ бога, следует отобрать. И он эти деньги заполучил — вместе с парочкой ссадин. На площади многие вступились за сестру Айду, но это не помогло. Шериф объявил ей — чтобы назавтра к полудню духу ихнего в городе не было.

Когда Райли рассказал мне все это, я спросил его — отчего ж он ничем не хотел им помочь, ведь с ними так подло обошлись. Вам в жизни не угадать, что он ответил. Убийственно серьезным тоном он произнес:

— Такая распущенная особа — неподходящее общество для Долли.

Под деревом потрескивал костер из валежника. Райли собирал сухие листья и хворост, судья, щурясь от едкого дыма, хлопотал над обедом. Только мы с Долли бездельничали.

— Боюсь я, — сказала она, сдавая карты, — ей-богу, боюсь, что Вирене этих денег уже не видать. И знаешь, Коллин, по-моему, она больше всего не из-за денег переживает. Уж не знаю почему, но только она ему верила, этому доктору Ритцу. Мне все вспоминается Модди-Лора Мэрфи. Девушка, что работала на почте. Они с Виреной были большие друзья. Боже, какой для нее был удар, когда Модди-Лора сдружилась с этим торговцем виски, а потом вышла за него. Но я ее не осуждаю — что ж, так оно и должно быть, раз она его полю-

била. А все-таки Модии-Лора и доктор Ритц, они, может, единственные, кому Вирена за всю свою жизнь доверяла, и вот пожалуйста: оба они... Нет, такое кого хочешь доконает.— Она рассеянно перебирала карты.— Ты перед тем что-то сказал про Кэтрин.

— Про ее рыбок. Я видел в окне аквариум.

— А саму Кэтрин не видел?

— Нет, только рыбок. Миссис Каунти ужасно славная — сказала, что пошлет ей обед в тюрьму.

Долли разломала одну из булочек, присланных миссис Каунти, и принялась выковыривать изюм.

— Коллин, а если мы все по-ихнему сделаем, в общем, пойдем на попятный? Тогда им придется выпустить Кэтрин, ведь правда? — И, вскинув глаза, она стала разглядывать верхние ветви платана, словно отыскивая просвет в густой листве.— Выходит, я должна сдаться?

— Миссис Каунти считает — нам надо вернуться домой.

— А она не сказала почему?

— Потому что... Ну она много чего говорила. Потому, что ты всегда подчинялась. Всегда хотела, чтобы в доме был мир и лад, — так она говорит.

Долли улыбнулась, расправила длинную юбку. Пробившиеся сквозь листву лучи солнечными кольцами легли ей на пальцы.

— Да разве у меня был когда-нибудь выбор? А мне как раз этого и хочется — выбирать самой. Сознать, что у меня могла быть совсем другая жизнь, что я все могла решать за себя сама. Вот тогда в доме и впрямь был бы мир, мир на мой лад.

Она стала смотреть на открывавшуюся нам сверху картину. Райли с треском ломал валежник, судья наклонился над дымящимся котелком.

— А судья, Чарли? Ведь пойти теперь на попятный, значит подло предать его. Да, — она переплела свои пальцы с моими, — он очень мне дорог.

Время замедлило ход, казалось, паузе не будет конца. Сердце мое закачалось. Ветви дерева сомкнулись вокруг меня, будто сложенный зонтик.

— Нынче утром, когда вас тут не было, он просил меня выйти за него замуж.

Словно услышав ее, судья выпрямился, от широкой мальчишеской улыбки его крестьянское лицо разом помолодело. Он помахал нам, Долли махнула в ответ, и

как было не почувствовать, сколько очарования было в ней в эту минуту. Будто старый портрет отчистили и, повернувшись к нему, ты неожиданно видишь в знакомом лице блеск живой плоти и чистые краски, которых не замечал до тех пор. Чем-чем, а уж тенью в углу она больше не будет.

— Вот что, зря ты расстраиваешься, Коллин, — сказала она. Решила, должно быть, что я возмущаюсь ею, и теперь выговаривает мне за это.

— Ну а ты?..

— А я никогда не имела права сама за себя решать. Но если, бог даст, придется, уж я буду точно знать, что правильно, а что нет. Так кого же еще ты видел в городе? — спросила она, словно бы отстраняя меня еще дальше. Я хотел было что-нибудь выдумать, наплесть что попало в отместку ей — ведь, казалось, она уходит в будущее, а я не могу за нею идти, я остаюсь прежним Коллином. Но когда я ей рассказал про сестру Айду, про фургон, про детишек, и почему у них вышла стычка с шерифом, и как они встретились нам по пути и спрашивали про даму на дереве, мы снова слились воедино, словно поток, на какой-то момент разделенный островом. Конечно, скверно вышло бы, если б Райли услышал, как я его продаю, но все-таки я повторил ей даже его слова, что такая особа, как сестра Айда, — неподходящее общество для Долли. Она от души рассмеялась, но потом сразу стала серьезной.

— Но ведь это же подлость, вырывать у детей кусок изо рта, да еще прикрываться моим именем. Стыд и позор! — Решительным жестом Долли поправила шляпу. — Коллин, вставай. Мы с тобой сейчас прогуляемся. Ручаюсь, они до сих пор там, где вы их оставили. Во всяком случае, поглядим.

Судья не хотел отпускать нас, все твердил, что, если Долли желает пройтись, он обязан сопровождать ее. Но ответ Долли утишил мою ревнивую злобу: пусть он лучше присмотрит за стряпней, сказала она, а с Коллином ей ничто не грозит — мы просто хотим размять ноги.

Как всегда, Долли шла не спеша, и торопить ее было бесполезно. Такая была у нее привычка — даже в дождь она неторопливо брела по лесной тропинке, будто по саду разгуливала, и глаза ее постоянно выискивали пахучие лекарственные травы — побеги болотной мяты, кануфера, майорана, разные целебные корешки.

Их запахом была пропитана ее одежда. Она все подмечала первая, и, если была в ней хоть капля тщеславия, проявлялось оно только в этом желании — чтобы именно ей, а не вам, удалось углядеть что-нибудь интересное: птичий след в форме браслета, свисающие с карниза сосульки. То и дело она подзывала нас — идите сюда, посмотрите: вон там облако в форме кошки, вон корабль из звезд, а вон злое лицо Мороза. Так и сейчас, мы еле плелись через луг. Долли совала в карман то засохшие одуванчики, то фазанье перо. Я уж думал, мы до захода солнца не выберемся на дорогу.

По счастью, нам не пришлось идти так далеко: на кладбище мы увидели сестру Айду со всем семейством — оно расположилось лагерем среди могил. Кладбище превратилось в какую-то мрачную детскую площадку: старшие девочки стригли волосы косоглазым близнецам; Малыш Гомер до блеска надраивал ботинки с помощью листьев и слюны; совсем большой парень, привалясь к могильному камню, меланхолично наигрывал на гитаре. Сестра Айда кормила младенца. Он, свернувшись, лежал у ее груди, словно розовое ухо. Заметив нас, она не двинулась с места, и Долли сказала:

— А ведь вы сидите на моем отце!

И правда, это была могила мистера Тэлбо, и сестра Айда, обратясь к памятнику (*Урия Фенвик Тэлбо, 1844—1922, Отважному воину, Любимому супругу, Нежному отцу*), тихо проговорила:

— Прости меня, воин.

Потом застегнула кофточку, отчего малыш сразу же раскричался, и поднялась.

— Пожалуйста, не вставайте. Я только хотела... представиться.

Сестра Айда пожала плечами:

— Он все равно меня донял, — сказала она и потерла грудь. — Да это опять вы! — Она удивленно уставилась на меня. — А где ж ваш приятель?

— Мне сказали, что... — Долли оторопело умолкла при виде оравы ребятишек, окруживших ее кольцом. — Вы и вправду хотели меня видеть? — снова заговорила она, стараясь не замечать крошечного мальчугана, который успел задрать ей юбку и теперь усердно разглядывал ее ноги. — Я Долли Тэлбо.

Переложив ребенка на другую руку, сестра Айда

освободившейся рукой обхватила Долли за талию и сказала сердечно, словно они были задушевными подругами:

— Я так и знала, Долли, что на вас можно рассчитывать. Ребятишки! — Она подняла младенца вверх, будто жезл. — А ну-ка, скажите Долли, что мы про нее слова худого не говорили!

Все закивали, загомонили, и Долли явно была растрогана.

— Нам никакими силами из города не выбраться, — сказала сестра Айда. — Уж я объясняла им, объясняла. — И она принялась подробно рассказывать Долли про свои злоключения. Жаль, что их нельзя было сфотографировать вместе: Долли, чинную, старомодную, как ее допотопная вуаль, и сестру Айду с ее яркими, сочными губами, словно созданную для радости.

— Не на что нам уехать, ведь они нас вчистую отобрали. Нет, надо мне было добиться, чтоб их засадили — этого тошнучего Бастера и шерифа, как бишь его: тоже еще, вообразил, будто он невесть кто!

Сестра Айда с трудом перевела дыхание. Щеки ее рдели, как малинник.

— Сказать по правде, мы на мели. А о вас мы и не слыхали раньше. Да если бы и слышали — мы вообще никогда ни о ком ничего дурного не говорим. Нет, мне-то понятно, это они все нарочно, чтобы придраться, но я так подумала — вы бы могли это дело уладить и...

— Ох, что вы, где уж мне! — ответила Долли.

— Так что же мне делать? У меня с полгаллона бензина, а может, и того меньше, пятнадцать ртов и на все про все — доллар и никель! Пожалуй, в тюрьме нам и то было б лучше!

— Пойдите, у меня есть друг, — с гордостью объявила Долли. — Умнейший человек, уж он найдет выход. — В голосе ее прозвучала такая радостная уверенность, что я понял: она в этом ни минуты не сомневается. — Коллин, беги-ка вперед, предупреди судью, что у нас гости к обеду.

Я мчал, через луг что было духу, хоть трава больно стегала меня по ногам: уж очень мне не терпелось увидеть, какое будет лицо у судьи при этом известии. И я не обманулся в своих ожиданиях.

— Господи боже мой! — воскликнул судья. — Шестнадцать душ! — И, бросив взгляд на жидкое варево, бурлившее на огне, в ужасе шлепнул себя по темени.



Я стал объяснять — специально для Райли, — что Долли наткнулась на сестру Айду совершенно случайно и я тут совсем ни при чем; но он так на меня поглядывал, будто живьем с меня кожу сдирает. Дошло бы до перепалки, если б судья сразу же не заставил нас взяться за дело: сам он быстро раздул огонь, Райли принес еще воды, и мы стали швырять в котелок сардины, сосиски, зеленый лавровый лист — все, что под руку попадет. Всыпали даже коробку соленого печенья — судья уверял, что от этого наша похлебка скорей загустеет. Кое-что, правда, мы бухнули в котелок по ошибке, — ну, скажем, кофейную гущу. Нас охватило то радостное возбуждение, какое царит на кухне в дни семейных торжеств. Мы даже имели нахальство поздравить друг друга с удачей. В знак прощения Райли угостил меня дружеским тумаком, и, когда показались первые ребята, судья чуть не до смерти напугал их бурными проявлениями гостеприимства.

Они в страхе остановились, никто шагу не хотел сделать, покуда не подошла вся орава. Тогда Долли с некоторой опаской, будто женщина, демонстрирующая дома сделанные на аукционе покупки, подвела их поближе, чтоб познакомить с нами. Словно на переключке, посыпались имена: Бет, Лорел, Сэм, Лилли, Айда, Клио, Кэйт, Гомер, Гарри, — но тут вдруг мелодия оборвалась: одна девчушка не захотела назвать свое имя. Сказала — это секрет. Сестра Айда не стала настаивать — секрет так секрет.

— Они все у меня такие капризные, — объяснила она, и на судью явно произвели впечатление ее длинные ресницы-травинки и тлеющий, как запальный шнур, голос. Он дольше, чем нужно, задержал ее руку в своей и что-то уж слишком радужно ей улыбнулся, — в общем, на мой взгляд, вел себя весьма странно для человека, каких-нибудь три часа назад сделавшего предложение. И я подумал — если Долли все это заметила, наверно, она приумолкнет. Но как раз в это время Долли проговорила: — Еще бы им не капризничать, они, видно, с голоду умирают, — и судья, весело хлопнув в ладоши, хвастливо показал на котелок и объявил — он это в два счета устроит. А пока, сказал он, недурно бы детям сбегать к ручью, пускай вымоют руки. И сестра Айда торжественно пообещала: они вымоют, и не одни только руки. Скажем прямо, им это было вовсе не лишнее.

Но та девчушка, что не хотела назвать свое имя, опять заупрямилась: она ни за что не пойдет сама, пускай папа несет ее на спине.

— А ты тоже мой папа,— объявила она, показывая на Райли. Он не стал ей перечить, усадил ее на плечи и понес — то-то было радости! Всю дорогу она шалила, закрывала ему глаза ладошками, и, когда Райли со-слепу налетел на плети дикого винограда, ее ликующий визг, рассекая воздух, взлетел к небесам. Тут Райли сказал — с меня хватит, а ну-ка слезай.

— Ой, ну, пожалуйста,— взмолилась она,— а я за это скажу тебе на ухо, как меня звать.

Я потом догадался спросить его, как ее все-таки звали. Оказалось — Стандарт Ойл; потому что ведь это такие красивые слова...

На берегах неглубокого, по колено, ручья глянце-вито зеленели полосы мха. Весной белоснежные камне-ломки и крошечные фиалки усыпают его, словно цветочная пыльца, ждущая вновь отроившихся пчел, что повисли, жужжа, над водой. Сестра Айда выбрала на берегу место повыше, чтобы наблюдать за купаньем.

— Смотрите, чтоб у меня без обмана! А ну, дайте жизни!

И мы дали жизни. Взрослые девушки, совсем невесты, ринулись в воду нагишом; мальчишки, большие и маленькие, крутились тут же в чем мать родила. Слава богу, что Долли осталась с судьей у платана; да и Райли тоже лучше бы не ходить — он до того смутился, что, на него глядя, смутились и остальные. Серьезно. Впрочем, только теперь, когда я знаю, что за человек из него вышел, мне стало ясно, откуда бралась тогда эта его странная церемонность: ему до того хотелось быть безупречно благовоспитанным, что даже любой чужой промах он ощущал как свой собственный.

Знаменитые эти пейзажи — цветущая юность на берегу лесного ручья... Как часто потом, бродя по холодным залам музеев, я останавливался у такого вот полотна и подолгу простаивал перед ним, пока в памяти моей не всплывала сценка из далекого прошлого — но только не так, как это было на самом деле: ватага озябших, покрывшихся гусиной кожей детей плещется в осеннем ручье,— а так, как нарисовано на картине: мускулистые юноши и неспешно бредущие девы, на чьих телах сверкают алмазами капли воды. И всякий

раз я думал о том — думаю и теперь, — что же случилось с этой странной семьей, где затерялась она в нашем мире.

— Бет, сплосни-ка волосы! Перестань брызгать на Дорел, это я тебе, Бак, прекрати сейчас же. А ну, ребята — за ушами хорошенько! Бог знает когда еще доведется.

Вдруг сестра Айда притихла, оставила ребятшек в покое.

— В такой же день... — сказала она, опускаясь на мох, и глаза ее, обращенные к Райли, засветились во всю свою силу. — Нет, что-то общее все-таки есть: рот такой же и уши торчат. Сигарета найдется, дружок? — продолжала она, совершенно не чувствуя, что внушает ему отвращение. В лице ее появилось что-то очень привлекательное — на мгновение стало видно, какой она была в девушках. — В такой же день, но только совсем в другом месте, печальней этого — кругом ни деревца, и посреди поля пшеницы — дом, один-одинешенек, как пугало на огороде. Нет, я не жалею: со мной были мать, и отец, и сестра Джералдина, и всего у нас было вдоволь, и сколько хочешь щенят и котят, и пианино, и у всех — хорошие голоса. Не сказать, чтоб нам было так уж легко — тяжелой работы невпроворот и только один мужчина в доме. Да он еще хворый был, наш папаша. Наемных рук не найдешь — никто не хотел долго жить в такой глухомани. Был у нас один старичок, мы с ним носились не знаю как, ну а он однажды напился и хотел было дом поджечь. Джералдине пошел тогда шестнадцатый год — она была меня на год постарше и красивая из себя, мы обе были красивые, — вот она возьми и вбей себе в голову: выйду, мол, за такого парня, чтоб отцу был подмогой. Но в наших краях особенно выбирать было не из кого. Грамоте нас обучала мама, сколько пришлось, — до самого ближнего города был добрый десяток миль. А назывался тот город Юфрай, по одной тамошней семье. Про него у нас так говорили: «Попадаешь в Юфрай, как из пекла в рай», потому что стоял он на горе и богатые люди туда на лето ездили. И вот в то самое лето, про какое я вспоминаю, Джералдина устроилась подавальщицей в отель «Красивый вид», а я, бывало, в субботу голосну на дороге, доеду до города и остаюсь ночевать. До тех пор ни она, ни я никуда из дому не уезжали. Джералдину вообще-то к городской жизни не больно тянуло, ну а я всякий раз

жду не дождусь субботы, будто это мои именины и рождество сразу. Был там такой павильон для танцев, пускали туда задаром — музыка бесплатная и разноцветные лампочки горят. Я, бывало, помогу Джералдине с работой управиться, чтоб нам поскорее туда поспеть, мы возьмемся с ней за руки — и бегом по улице, а как добежим, я с ходу, не отдышавшись, танцевать начинаю. Кавалеров нам дожидаться не приходилось: на каждую девушку — пятеро парней, а мы были самые хорошенькие. Мальчиками я особенно не увлекалась, для меня главное были танцы. Другой раз все остановятся и смотрят на меня, как я в вальсе верчусь, а кавалеров я даже и разглядеть-то не успевала — так они быстро менялись. После танцев парни за нами гурьбой до самого отеля идут, а потом давай кричать у нас под окном: — Выдь на минутку, выдь на минутку! — и песни поют, вот дурачье какое. Джералдину из-за этого чуть было с работы не выгнали. А мы с ней лежим, не спим и все, что вечером было, по-деловому обсуждаем. Она в облаках не витала, моя сестра. Она об одном думала: на которого из наших ухажеров можно надежду иметь, что от него дома подмога будет. И выбрала Дэна Рейни. Он был постарше других, ему двадцать пять сравнялось — мужчина. С лица не больно хорош — уши торчком, конопатый, и подбородка вроде бы не видать; да-а, но Дэн Рейни, ох, он был удалой парень, хоть и степенный такой; а уж силища — бочку гвоздей поднимал. В страду он к нам домой приехал, помог пшеницу убрать. Папаше он сразу же по душе пришелся, а мама, хоть и сказала — молода еще Джералдина замуж идти, — но шума поднимать не стала. На свадьбе я все плакала, думала, из-за того, что нам теперь не ходить с Джералдиной на танцы и никогда уж не будем мы с ней рядышком на постели лежать. Зато когда Дэн Рейни дома все в свои руки взял, вроде бы дело на лад пошло. Сумел он к земле подход найти — она ему все свое лучшее отдавала, — да и к нам, пожалуй, тоже. Вот только одно — зимою сидим мы, бывало, у очага, и я чувствую вдруг: сейчас сомлею — то ли от жары, то ли еще от чего, сама не знаю. Выбегу во двор в одном платьишке, а холода и не чувствую, ровно сама превратилась в ледышку, потом закрою глаза и кружусь, кружусь по двору, будто вальс танцую. И вот как-то вечером Дэн Рейни меня подхватил — а я и не слышала, как он подкрался, —

и давай со мной вместе кружить, так, шутки ради. Но только это не совсем шутка была. Правилась я ему. Я это с самого начала почуяла. Но он ничего не говорил, а я и не спрашивала; на том бы и кончилось все, если бы Джералдина не скинула. Дело было весной. Она у нас до смерти змей боялась — Джералдина, — а тут как раз собирала она яйца, и попадись ей змея. Вот через это все и вышло. Да и не змея это вовсе была, а уж, но она до того напугалась, что скинула. На шестом месяце. Не пойму, что за муха ее тогда укусила, до того она стала злющая, вредная. Чуть что — так и взвивается сразу. Хуже всего Дэну Рейни пришлось, уж он старался на глаза ей не попадаться, а ночевать оставался в поле — завернется в одеяло и спит. Я знала — если только останусь... Так что уехала я от греха в Юфрай и устроилась в тот же отель, на место Джералдины. В павильоне для танцев все было такое же, как в прошлое лето, а вот я еще краше стала. Один парень чуть не прикончил другого — заспорили, кому оранжадом меня угощать. Нет, веселиться-то я веселилась, только вот голова у меня совсем другим была занята. Меня в отеле все спрашивали — где у тебя голова: то я в сахарницу соли насыплю, то вместо ножика ложку подам — мясо резать. И за все лето я дома ни разу не побывала. А как подошло время — такой же был день, как вот сейчас, осенний денек, голубой, словно вечность, — я своих и не известила, что еду, просто вылезла из повозки и отшагала три мили по жнивью меж ометов, пока не нашла Дэна Рейни. Он мне ни слова не сказал, только бросился наземь и заплакал, как малое дитя. И так мне стало жалко его и такая была у меня к нему любовь, никакими словами не передашь.

Сигарета ее потухла. Казалось, она потеряла нить рассказа или, того хуже, решила совсем оборвать его. Меня так и подмывало засвистеть, затопать ногами, как буянит хулиганье, когда в кино обрывается лента. Райли тоже не терпелось услышать, что было дальше, хоть по нем это и не так было видно, как по мне. Он чиркнул спичкой, поднес огонек к ее сигарете; от этого звука она вздрогнула и снова заговорила, но пока длилась пауза, она словно успела уйти далеко-далеко вперед.

— И тогда папаша поклялся, что убьет его. Джералдина сто раз за меня принималась: ты только скажи нам — кто, Дэн его из ружья застрелит. А я хохочу,

пока не расплачусь, а не то плачу, пока не расхожусь. Да ну еще, говорю, мне и самой невдомек: было у меня в Юфрае с полдюжины парней, стало быть, один из них, а почему знать который? И тут мать мне как влепит затрещину. Но поверить они поверили; сдается мне, потом даже и Дэн поверил — уж очень ему, горемыке несчастному, верить хотелось. Все эти месяцы я из дому носа не высывала, а как раз в это время папаша помер. Так они меня даже на похороны не пустили — людей было стыдно. В тот день оно и случилось: как ушли они все на похороны, осталась я одна-одинешенька, а ветер песком швыряет, ревет, будто слон, — вот тогда мне господь и явился. Ничем я такого не заслужила, чтобы его избранницей стать. Прежде мама, бывало, сколько меня уговаривает, покуда я стих из Библии выучу. А после того случая я без малого за три месяца их больше тысячи запомнила. Ну так вот, подбирала я песенку на пианино, вдруг — окно вдребезги, вся комната ходуном заходила, потом вроде бы встала опять на место; только чувствую — кто-то тут, рядом со мной. Я сперва думала — это папашин дух. А ветер улегся — тихо так, незаметно, знаете, как весна гибнет, и я поняла — это Он, и я встала, выпрямилась, как Он мне внушил, и раскинула руки, приветствуя Его. Двадцать шесть лет назад это было, третьего февраля, мне в ту пору было шестнадцать, а сейчас — сорок два, и ни разу я в своей вере не пошатнулась. А когда время мое пришло, я никого не стала звать — ни Джералдину, ни Дэна Рейни; лежу и шепчу потихоньку стих за стихом, — так ни одна душа и не знала, что Дэнни родился, покуда крика его не услышали. Дэнни — это его Джералдина так назвала. Соседи думали — это ее ребенок. Со всей округи народ понаехал смотреть новорожденного, подарков ей навезли, а мужчины хлопают Дэна Рейни по спине, говорят, — ну и славный сыночек у тебя. А я, как только на ноги поднялась, тут же уехала за тридцать миль в Стоунвил. Он раза в два побольше Юфрая, там большой был горняцкий поселок. Мы вдвоем еще с одной девушкой прачечную открыли, и дела у нас бойко пошли, — в горняцком поселке народ-то все больше холостой. Раз два в месяц я домой ездила, Дэнни проводить. Так вот семь лет взад-вперед и моталась. Ведь это единственная моя отрада была, да и та горькая. Всякий раз душа, бывало, переворачивается: до того был хоро-

шенький мальчишечка, ну просто не опицать. А Джералдина, так та обмирала прямо, стоило мне до него дотронуться. Как увидит, что я его целую, на стену лезет. И Дэн Рейни тоже не лучше — до смерти боялся, как бы я за него цепляться не стала. И вот приехала я в последний разочек домой и говорю ему — давай с тобой в Юфрае встретимся. А все потому, что втемяшила себе в голову: вот если бы мне еще раз через это пройти, если бы мне опять мальчишку родить, чтобы был на одно лицо с Дэнни... И долго меня это гвоздило. Но только зря я тогда думала, будто оба они могут от одного отца быть. Тому ребенку все равно бы не жить, так мертвый бы и родился... Смотрела-смотрела я на Дэна Рейни (холодуга страшный был, мы с ним в пустом павильоне для танцев сидели, так, помню, он за все время рук из карманов не вынул), да и говорю — ну, ступай. Так я ему и не сказала, зачем звала. А потом сколько лет все такого искала, чтобы был на Дэна похож. Там, в Стоунвиле, свела я знакомство с одним горняком — веснушки такие же, и глаза рыжие; славный был парень, он меня Сэмом наградил, старшим моим. Сколько помню, отец Бет был просто вылитый Дэн Рейни; только Бет — она девочка и на Дэнни совсем не похожа. Да, забыла сказать: свой пай в прачечной я продала, перебралась в Техас и работала там в ресторанах — в Далласе, в Амарильо. Но только когда повстречалась я с мистером Медоу, стало мне ясно, почему господь удостоил меня своей милостью и какое мое предназначение. Мистер Медоу — он Верное Слово знал. И как услышала я в первый раз его проповедь, так сразу к нему и пошла. Мы с ним всего минут двадцать проговорили, и он мне сказал — я на тебе женюсь, если ты, говорит, незамужем. А я говорю — нет, не замужем, но есть у меня кой-какая семья — их тогда, по правде сказать, у меня уже пятеро было. Так он даже бровью не повел. И неделю спустя мы с ним поженились — как раз на Валентинов день. Человек он был уже немолодой и на Дэна Рейни нисколючко не похож. Без сапог он и до плеча мне не доставал. Но когда господь соединял нас, он знал, что делает. Прижила я с ним Роя, и Пэрл, и Кэйт, и Клио, и Малыша Гомера — почти все они в том самом фургоне родились, что вы на дороге видели. Колесили мы с ним по всей стране, несли божье слово людям, которые прежде его не слышали, а и слышали, то не так, как мой

муж его растолковать умел. А теперь я должна вам рассказать что-то очень печальное — дело в том, что ведь я потеряла мистера Медоу. Как-то утром — было это в Луизиане, в таком подозрительном месте, где каджуны живут, — так вот, пошел он по дороге купить кой-чего из еды, и я его больше не видела. Исчез, словно в воду канул. А что полиция говорит, так я на это плюю — не такой он был человек, чтоб удрать от семьи; нет, сэр, тут дело нечисто.

— А может, это потеря памяти? — сказал я. — Вдруг забываешь решительно все, даже как тебя звать.

— Это у человека-то, который всю Библию наизубок знал? И вы считаете, он мог до такого дойти, чтоб позабыть, как его звать? Нет, его один из этих каджунов убил — позарился на перстень с аметистом. После этого у меня, ясное дело, были всякие встречи, да только любви уже не было. Лилли, Айда, Лорел, другие малыши — все они так появились. Так уж оно получалось — непременно нужно мне слышать, как у меня под сердцем новая жизнь толкается. А без этого я вроде бы неживая...

Когда все ребята оделись — кое-кто из них второпях натянул свои одежки наизнанку, — мы вернулись к платану. Старшие девочки стали расчесывать и сушить волосы у костра. Пока мы купались, Долли присматривала за самым маленьким, и теперь ей явно не хотелось его отдавать.

— Вот если б кто-нибудь из нас — моя сестра или Кэтрин — завел в свое время ребеночка!

И сестра Айда сказала — да, они ведь такие забавные и потом — это большая радость. Наконец мы расселись вокруг костра. Похлебка обжигала — в рот не возьмешь; этим, пожалуй, только и можно объяснить ее шумный успех. Судье пришлось кормить гостей по очереди — в хозяйстве было всего три миски. Он без конца потешал их забавными фокусами, всякой смешной чепухой, и дети веселились вовсю. Стандарт Ойл объявила, что ошиблась: на самом деле ее папа вовсе не Райли, а судья. В награду ей был устроен полет в небеса: судья подхватил ее, поднял над головой и стал подбрасывать, приговаривая:

Кто на море,  
Кто в леса,  
А мы — прямо  
В небеса!  
Оп-ля! Оп-ля!



Тут сестра Айда сказала — смотрите, да вы сильный какой, и судья прямо расцвел от этих слов, чуть было не попросил, чтобы она потрогала его мускулы. И все время украдкой поглядывал на Долли — любитесь ли она им. Она и вправду любовалась.

Между длинными пиками последних закатных лучей заплескалось гульканье горлицы. Прохладная прозелень и синева растекались в воздухе, словно вокруг нас истаивала радуга. Долли поежилась:

— Приближается гроза. Весь день ее чую.

Я с торжеством взглянул на Райли — ну что я тебе говорил!

— Да и поздно уже, — сказала сестра Айда. — Бак, Гомер! А ну, ребятки, добежите-ка до фургона. Бог его знает, мало ли кто туда мог забраться да все повытаскать. Не то чтоб у нас было чем поживиться, — ничего там такого нет, кроме моей швейной машины, — тихо добавила она, глядя вслед сыновьям, уходящим по узкой тропинке в густеющие сумерки. — Так как же, Долли? Надумали вы...

— Мы тут все обсудили, — быстро ответила Долли и повернулась к судье, ища у него поддержки.

— В суде вы бы выиграли дело, это бесспорно, — сказал он, и голос его прозвучал сугубо профессионально. — На сей раз закон, как исключение, оказался бы на правой стороне. Но пока суд да дело...

— Пока суд да дело... — подхватила Долли и сунула сестре Айде в руку сорок семь долларов, всю нашу наличность, и в придачу карманные золотые часы судьи. Поглядывая на эти дары, сестра Айда качала головой, всем своим видом показывая, что не должна бы их брать:

— Не дело это. Но все равно спасибо вам.

Над лесом прокатился еще не окрепший гром, и в наступившем зловещем затишье на тропинку, как атакующая кавалерия, ворвались Бак и Гомер.

— Идут! Идут! — хором выкрикнули они. Сдвигая со лба свою огромную шляпу, Малыш Гомер с трудом выдохнул:

— Мы... всю дорогу... бежали.

— Говори толком, сынок: кто идет?

Малыш Гомер глотнул воздух:

— Да эти дядьки. Шериф — это раз, а с ним — ой, еще сколько. Через поле топают. С ружьями.

Снова прогрохотал гром. Ветер, озорничая, разметал наш костер.

— Ну вот что,— заговорил судья, беря на себя командование.— Прежде всего, не терять головы.

Он словно готовился к этой минуте всю свою жизнь, и я вынужден скрепя сердце признать, что, когда она наступила, он ее встретил с честью.

— Женщины и малыши, поднимитесь в древесный дом. Райли, ты проследишь, чтоб остальные спрятались порознь,— залезайте-ка на другие деревья и прихватите с собою побольше камней.

Мы выполнили его приказы, и он остался внизу один. Упрямо стиснув зубы, он вглядывался в напряженную тишину сумерек — ни дать ни взять капитан, что до конца не покинет тонущего корабля.

## Глава VI

Мы впятером — в том числе Малыш Гомер и его брат Бак, сердитого вида паренек, державший в каждой руке по увесистому камню,— устроились на высоком сикоморе, нависавшем над тропинкой. Напротив нас, оседлав ветку другого сикомора, сидел Райли; на том же дереве расположились старшие девочки. В сгущавшемся синеватом сумраке их бледные лица тускло светились, как пламя свечи в фонаре. По щеке у меня скатилась влажная бусинка; сперва я подумал — начинается дождь, но это была капля пота. Хотя гром и затих, в воздухе пахло дождем, и от этого еще резче стал запах листвы и дыма над затухавшим костром. Перегруженный древесный дом зловеще поскрипывал. Сверху все его обитатели казались мне одним существом — большущим пауком, многоногим и многоглазым, голову которого, словно бархатная корона, увенчивала Доллина шляпа.

На нашем дереве все вытащили жестяные свистульки, точно такие, как Райли купил у Малыша Гомера. «Ими здорово сатану отпугивать», — говорила тогда сестра Айда. Малыш Гомер снял свою огромную шляпу, извлек из ее глубоких недр длинный и толстый жгут, — должно быть, ту самую Бельевую веревку господ бога, — и принялся мастерить лассо. Он проверял, хо-

рошо ли скользит петля, и закреплял узел, а его крошечные очки в стальной оправе поблескивали так грозно, что я стал потихоньку отползать от него, пока между нами не очутилась еще одна ветка.

Судья, ходивший дозором под деревьями, сердито зашипел, чтобы мы перестали возиться. Это был последний его приказ перед началом вражеского вторжения.

Сами враги совсем не считали нужным таиться. Сбивая прикладами мелкую поросль — ни дать ни взять рубщики сахарного тростника, — они нагло топали по тропинке. Вот их уже девять, двенадцать, двадцать... Впереди — шериф Джуниус Кэндл, его значок слабо поблескивает в сумерках, за ним — Верзила Эдди Стовер; настороженным взглядом он обшаривает деревья, в ветвях которых мы сидим, притаившись, и мне приходят на память картинки-загадки из газет: «Отыщите пятерых мальчиков и сову, которые прячутся на дереве». Но для этого требуется побольше мозгов, чем у Верзилы Эдди: он смотрел на меня в упор — и не заметил. Из всей их бражки никто умом не блистал, на этот счет беспокоиться не приходилось. Большинству из них грош цена в базарный день — сущие скоты да еще пьянчуги в придачу. Впрочем, я обнаружил среди них директора нашей школы мистера Хэнда, — в общем-то, он был человек вполне порядочный; про него и не подумаешь, что он может затесаться в такую компанию, да еще ради столь позорной затеи. Вот Амоса Лэгрэнда — того пригнало сюда любопытство. Против обыкновения он помалкивал, да оно и понятно: Вирена тяжело, словно на ручку палки, опиралась на его голову, едва доходившую ей до бедра. Его преподобие мистер Бастер с мрачным видом церемонно поддерживал ее с другой стороны. Заметив Вирену, я вновь оцепенел от ужаса, совсем как после маминной смерти, когда Вирена явилась к нам в дом, чтобы забрать меня. Хоть она как будто бы и прихрамывала слегка, но, как всегда, держалась надменно и властно. Вместе со своим эскортом она подошла к нашему сикомору и остановилась.

Судья не отступил ни на шаг: стоит лицом к лицу с шерифом, словно охраняя невидимую границу, и глядит на него с вызовом — а ну, попробуй, перешагни.

И в этот решительный момент я взглянул на Малыша Гомера. Он медленно опускал лассо. Веревка ползла, покачиваясь, будто змея; широкая петля зияла, как разверстая пасть, — точный бросок, и она обвилась вокруг шеи преподобного Бастера. Гомер рывком затянул петлю, и отчаянный вопль старого Бастера разом оборвался. Лицо его налилось кровью, он неистово дергался, но остальным уже было не до него — успех Малыша Гомера послужил сигналом к развернутому наступлению. Летели камни, пронзительным орлиным клетком захлебывались свистульки, и все эти типы, остервенело тузя друг друга, спешили укрыться где попало — в основном под телами упавших товарищей. Амос Лэгрэнд хотел было юркнуть к Вирене под юбку, но получил основательную затрещину. Можно сказать, что только Вирена держалась, как подобает мужчине. Она свирепо грозила нам кулаком, честила нас на все корки.

В разгар этой кутерьмы неожиданно хлопнул выстрел, будто стукнула окованная железом дверь. Звук выстрела, его нескончаемое тревожное эхо разом умерили наш пыл, но в наступившей тишине мы услышали, как со второго сикомора с треском валится что-то тяжелое. Это был Райли — он падал, падал, расслабленно, медленно, как убитая рысь. Вот он ударился о ветку, она расщепилась, девочки вскрикнули и закрыли глаза руками; на мгновение он повис, как отрывающийся лист, потом окровавленной грудой рухнул на землю. Никто не решился к нему подойти.

Наконец судья выдохнул:

— Боже мой, боже мой!.. — Не помня себя, опустился он на колени и стал гладить бессильно раскинутые руки Райли: — Сжался, сжался, сынок, скажи хоть что-нибудь.

Остальные мужчины, перепуганные, пришибленные, обступили их. Кто-то начал давать советы судье, но, казалось, до него ничего не доходит. Один за другим мы слезали с деревьев, и нарастающий шепот детей: — Он умер? Он умер? — был словно стон, словно слабый гул в прижатой к уху раковине. Мужчины почтительно расступились, давая дорогу Долли, и сдернули шляпы. Она была так потрясена, что не видела их, не заметила даже Вирены, прошла мимо нее.

— Я хочу знать, — заговорила Вирена властным,

требующим внимания тоном, — который из вас, идиотов, стрелял?

Подручные шерифа обвели друг друга осторожным взглядом, потом разом уставились на Верзилу Эдди Стовера — у того затряслись щеки, он судорожно облизнул губы:

— Черт, да у меня и в мыслях не было кого-то там подстрелить. Делал, что мне положено, и все тут.

— Нет, не все, — сурово оборвала его Вирена. — Я считаю, в случившемся повинны именно вы, мистер Стовер.

Тут Долли наконец обернулась. Глаза ее, едва различимые под вуалью, неотрывно смотрели на Вирену и видели только ее, словно кругом никого больше не было.

— Повинен? Никто ни в чем не повинен, кроме нас с тобой.

Между тем сестра Айда, отстранив судью, занялась Райли. Она содрала с него рубашку.

— Ну вот что, благодарите судьбу — он ранен в плечо, — сказала она, и все облегченно вздохнули, да так бурно, что от вдоха одного только Эдди Стовера мог бы взлететь в поднебесье бумажный змей. — Но вообще-то ему досталось здорово, надо бы вам, ребята, отнести его к доктору.

Оторвав кусок от рубашки Райли и наложив ему жгут на плечо, она быстро остановила кровь. Шериф и трое его подручных переплели руки, получились носилки, на них подняли Райли. Впрочем, нести пришлось не его одного. Преподобный Бастер тоже был в самом плачевном состоянии — руки и ноги болтаются, как у куклы, весь обмяк, даже не сознавал, что у него не снята с шеи петля; так его и волокли на себе люди шерифа, а Малыш Гомер сердито кричал вдогонку:

— Эй, отдавайте мою веревку!

Амос Легрэнд дожидался Вирены, чтобы сопроводить ее в город, но Вирена сказала ему — пусть уходит один, она с места не сдвинется, пока Долли... Выжидательно обведя всех нас взглядом, она остановила его на сестре Айде:

— Я бы хотела поговорить со своей сестрой с глазу на глаз.

Небрежно отмахнувшись, сестра Айда сказала:

— Не волнуйтесь, леди, нам все равно пора. — Потом

крепко обняла Долли: — Ей-богу, мы полюбим вас! Правда, ребятки?

— Поедем с нами, Долли, — подхватил Малыш Гомер, — будет так весело! Я тебе подарю мой ковбойский пояс.

А Стандарт Ойл бросилась судье на шею и стала его упрашивать, чтобы он тоже поехал с ними. На меня охотников не нашлось.

— Никогда не забуду, что вы звали меня с собой, — сказала Долли и торопливо обвела взглядом лица детей, словно стараясь все их запечатлеть в памяти. — Будьте счастливы. Всего вам хорошего. А теперь бегите! — прокричала она, перекрывая новый; совсем уже близкий раскат грома. — Бегите, дождь начался!

Это был приятно щекочущий, легонький дождик, тонкий, словно кисейный занавес, и, когда сестра Айда с семейством исчезли в его складках, Вирена заговорила:

— Насколько я могу судить, ты во всем потворствуешь этой... особе. И это после того, как она сделала наше имя посмешищем!

— Меня как раз нечего обвинять, будто я кому-то потворствую, — ответила Долли безмятежно спокойным тоном. — Уж во всяком случае, не этим громилам, которые, — тут выдержка изменила ей, — обкрадывают детей и бросают в тюрьму старух. Много мне чести от нашего имени, если им творят такое. Еще бы ему не стать посмешищем.

Вирена выслушала все это, не дрогнув.

— Нет, это не ты, — заявила она тоном врача, ставящего диагноз.

— А ты посмотри получше, это все-таки я. — И Долли выпрямилась во весь рост, словно на смотру. Была она такая же высокая, как Вирена, и так же уверена в себе; в ней не осталось ничего смутного, незавершенного. — Я послушалась твоего совета — держать голову выше. А то ты говорила, тебе на меня смотреть тошно. А еще ты сказала тогда, что стыдишься меня и Кэтрин. Мы отдали тебе столько лет жизни, и горько было нам сознавать, что все это понапрасну. Да ты разве знаешь, каково это чувствовать, что отдаешь себя понапрасну?

Вирена ответила еле слышно: — Да, знаю, — и глаза ее сошлись к переносице; они словно глядели внутрь и

видели там каменистую пустыню. То же самое выражение я подмечал у нее и раньше, подсматривая с чердака поздним вечером, когда она грустно перебирала карточки Моды-Лоры, ее детей и мужа. Вирена пошатнулась и оперлась на мое плечо, а то бы ей не устоять на ногах.

— Я думала, меня это будет до самой смерти грызть. Оказалось — нет. Ведь и я тоже стыжусь тебя, Вирена, но говорю тебе это без всякого злорадства.

Наступила ночь. Квакали лягушки, жужжали насекомые, бурно радуясь медленно падавшему дождю, Лица у всех нас потускнели, словно сырость загасила в них свет. Вдруг Вирена стала медленно оседать.

— Мне худо, — безжизненным голосом проговорила она. — Я больна, я совсем больна, Долли.

Долли как-то не очень поверила. Подошла к ней, потрогала, словно правду можно проверить на ощупь.

— Коллин, и вы, судья, — сказала она. — Пожалуйста, помогите мне посадить ее на дерево.

Поначалу Вирена заартачилась — не к лицу это ей по деревьям лазить. Но, свыкшись в конце концов с этой мыслью, забралась наверх без труда.

Дом на дереве был словно плот, — казалось, он плыл по затянутым пеленою дымящимся водам. Но в самом доме было сухо: мягко шлепавший дождик не проникал сквозь зонт листвы. Нас медленно нес поток молчания, пока не раздался голос Вирены:

— Долли, я хочу тебе что-то сказать. Но мне будет легче сказать тебе это наедине.

Судья скрестил руки на груди.

— Мисс Вирена, боюсь, вам придется терпеть мое присутствие. — Голос его прозвучал внушительно; впрочем, в нем не было воинственного задора. — Я, видите ли, заинтересован в исходе вашего разговора.

— Сомневаюсь. С чего бы это? — возразила Вирена. Понемногу она обретала свою обычную надменность.

Судья зажег огарок, и сразу же наши тени склонились над нами, как четверо соглядатаев.

— Не люблю разговоров втемную, — объяснил он. В его горделивой, подчеркнута прямой осанке угадывалось определенное намерение: думаю, он хотел показать Вирене, что она имеет дело с мужчиной. Слишком мало встречалось ей в жизни мужчин, настолько уверенный

в том, что они мужчины, чтобы это подчеркивать. И она решила — такого спускать нельзя:

— Вы, конечно, забыли, Чарли Кул, а может, все-таки помните? Лет пятьдесят назад было дело, а может, и больше. Вы с другими мальчишками забрались к нам на участок — за ежевикой. Мой отец поймал вашего двоюродного брата, Сета, а я — вас. Я вам в тот раз задала хорошую трепку.

Нет, судья не забыл. Он вспыхнул, смущенно заулыбался, сказал:

— Вы не по-честному дрались, Вирена.

— Нет, я дралась по-честному, — сухо ответила она. — Но вы правы: раз нам обоим не по душе разговор втемную, поговорим в открытую. Скажу откровенно, Чарли, я не слишком жажду вас видеть. Сестре нипочем бы не пройти через эту дурацкую заваруху, если бы вы не подзадоривали ее. Вот поэтому я бы вас попросила теперь нас оставить. Больше это никак вас касаться не может.

— Нет, может! — вмешалась Долли. — Потому что судья Кул, Чарли... — Она сникла, словно внезапно усомпившись в собственной храбрости.

— Долли хочет сказать, что я просил ее выйти за меня замуж.

— Это... — с трудом выговорила Вирена после некоторой заминки, — в высшей степени... — процедила она, разглядывая свои обтянутые перчатками пальцы, — ...интересно. В высшей степени. Вот никогда бы не поверила, что у вас обоих столько фантазии. А может, это вовсе у меня фантазия разыгралась? Наверно, мне просто снится, что я сижу на мокром дереве в ненастную ночь. Но только снов у меня не бывает, а может быть, я потом забываю их. Ну, так вот: этот сон я предлагаю нам всем позабыть.

— Признáюсь вам, мисс Вирена: мне тоже кажется — это сон, мечта. Но когда человек не может мечтать, он все равно что не может потеть — в нем накапливается яд.

Вирена не слушала его — она была полностью поглощена Долли, а Долли ею: они словно были наедине, двое людей на разных концах мрачной комнаты, двое немых, что общаются странным языком жестов, едва уловимым движением глаз; но вот Долли как будто



дала ответ, и от ее ответа с лица Вирены сбежала вся краска:

— Понимаю. Значит, ты приняла его предложение, да?

Дождь посыпал так густо — впору рыбам плавать по воздуху, простучал, понижаясь в тоне, целую гамму, ударил по самой басистой струне, и вот уже забарабанил ливень. Он добрался до нас не сразу, хоть и грозился, — капли просачивались сквозь листву, но в наш домик не попадали, он был как сухое семя в пзмокшем цветке. Судья прикрыл ладонью свечу. Ответа Долли он ждал с таким же волнением, как и Вирена. И мне тоже не меньше, чем им, не терпелось его услышать, но меня словно отстранили от участия в этой сцене — снова я всего-навсего соглядатай, подсматривающий с чердака. И странно, симпатии мои не были отданы никому. А вернее — им всем: нежность ко всем троиим сливалась во мне, как сливаются капли дождя, я не мог отделить их друг от друга, они воплотились для меня в единую человеческую сущность.

Вот и Долли тоже. Она не могла отделить судью от Вирены. Наконец с мукой в голосе выкрикнула:

— Нет, не могу! — словно признаваясь в несостоятельности, которой никак не ожидала от себя. — Вот я говорила — когда придется решать, я буду знать точно, что правильно, а что нет. А выходит — не знаю. Ну, а другие знают? Раньше я думала — был бы у меня выбор, могла б я прожить свою жизнь по-другому, все решать за себя сама...

— Но ведь мы уже прожили свою жизнь, — возразила Вирена. — И твою зачеркивать не приходится. Разве когда-нибудь ты желала больше того, что имела? Я всегда завидовала тебе. Вернись домой, Долли. Предоставь решения мне: пойми, в этом — моя жизнь.

— Это правда, Чарли? — спросила Долли, как мог бы спросить ребенок: «А куда падают звезды?» — Мы и в самом деле прожили свою жизнь?

— Пока мы еще не умерли, — отозвался судья. Но это было все равно что сказать ребенку — звезды падают в космос. Бесспорно верный и все-таки неубедительный ответ. И он не удовлетворил Долли.

— А вовсе не обязательно умирать. Вот у нас дома, на кухне, стоит герань — она все цветет и цветет. А есть и другие растения — они если цветут, так один только

раз, и больше с ними никогда ничего не бывает. Они хоть и живы, но уже прожили свою жизнь.

— Только не вы, — сказал он и приблизил лицо к ее лицу, словно хотел коснуться губами ее губ, но не осмелился, дрогнув. Дождь прорыл туннели в листве, с силой обрушился на нас; с бархатной шляпы Долли стекали ручейки, вуаль прилипла к щекам, пламя свечи заметалось, погасло. — И не я...

Молнии огненными жилками бились в небе, в их беспрерывных вспышках Вирена казалась мне совсем незнакомым человеком — это была убитая горем, опустошенная женщина; глаза ее снова сбежались к носу, их взгляду, обращенному внутрь, открывалась иссушенная земля. Когда молнии стали реже и безостановочный гул дождя обнес нас прочной оградой звуков, она снова заговорила, и голос ее звучал так слабо, совсем, совсем издали; она как будто и не надеялась, что мы услышим ее.

— ...завидовала тебе, Долли, твоей розовой комнате. Ведь сама я только стучалась в двери таких комнат, не слишком часто, но достаточно, чтобы понять одно: теперь впустить меня туда некому, кроме тебя. Потому что малыш Моррис, малыш Моррис — я ведь любила его, вот как бог свят, любила. Не по-женски любила. Мы с ним — что ж, я этого не скрываю, мы с ним родственные души. Мы глядели друг другу в глаза и видели там одного и того же черта. И нам не было страшно. Нам было... весело. Но он перехитрил меня. Я-то знала: он может перехитрить, только надеялась, что не захочет, но он все-таки захотел, и теперь мне быть одной до конца моих дней — нет, это слишком долго. Брожу я по дому, и ничего там нет моего: твоя розовая комната, твоя кухня; дом этот твой, я хотела сказать, твой и Кэтрин. Только не покидай меня, позволь мне быть с тобой. Я чувствую себя старой, я не могу без моей сестры.

Дождь, вторя Вирене, разделял их — судью и Долли — прозрачной стеной, и сквозь нее судья мог видеть, как Долли истаивает, отдаляется от него, точно так же, как утром она отдалялась от меня. Казалось, и самый дом на дереве тает у нас на глазах. Порывистым ветром унесло размокшую, разрозненную колоду карт и обрывки оберточной бумаги; крекер раскрошился; из переполнившихся банок фонтаном выхлестывалась вода,

а замечательное лоскутное одеяло Кэтрин было загублено вконёй, превратилось в слякоть. Дом погибал, как те обреченные дома, что реки уносят в половодье. И казалось, судья заперт в нем, как в ловушке, и прощально машет оттуда рукою нам, уцелевшим, стоящим на берегу. Потому что Долли сказала:

— Простите меня, я ведь тоже не могу без моей сестры.

И судья был не в силах до нее дотянуться ни руками, ни сердцем: слишком неоспоримы были предъявленные Виреной права.

К полуночи дождь утих, перестал. Гулко ухая, ветер крутился по лесу, выжимая деревья. Поодиночке, как входят в бальный зал запоздавшие гости, стали показываться звезды, протыкая черное небо. Пора было уходить. Мы ничего не взяли с собой: одеяло оставили гнить, ложки — ржаветь, а дом на дереве и лес мы оставили в добычу зиме.

## Глава VII

Довольно долго потом Кэтрин только так исчисляла время любого события: это случилось до или после того, как она побывала за решеткой.

— Еще до того, — начнет, бывало, она, — как эта самая сделала из меня арестантку...

Да и мы, остальные, могли бы подразделять историю на периоды по такому же принципу: до и после того, как мы жили в доме на дереве. Ибо те три осенних дня стали для каждого из нас вехой и рубежом.

Судья, например, после этого только раз зашел в дом, где он жил с сыновьями и невестками, да и то, чтобы забрать свои вещи, и с тех пор не переступал его порога. Видимо, это вполне их устраивало, — во всяком случае, они не стали возражать, когда он снял комнату в пансионе мисс Белл. Ее заведение помещалось в унылом, побуревшем от времени доме — недавно его переоборудовали в похоронное бюро: гробовщик смекнул, что для создания соответствующей атмосферы переделки потребуются минимальные. Я не любил проходить мимо этого дома: постоялицы мисс Белл, пожилые дамы, колючие, как изъеденные тлей розовые кусты, которые портят задний двор, оккупировали веранду и несли там бессменную вахту от зари до зари. Одна из них, вдова

Мэми Кэнфилд, схоронившая двух мужей, специализировалась на распознавании беременности. (Рассказывали, что какой-то муж будто бы наставлял свою жену: «И чего деньги зря тратить на доктора! Протопай разок мимо дома мисс Белл, уж Мэми Кэнфилд, она сразу весь свет оповестит, готова ты или нет».) Пока в пансионе не водворился судья, единственным мужчиной в доме мисс Белл был Амос Лэгрэнд. Для ее жилищ он был сущей находкой. С трепетом ждали они той минуты, когда Амос, отужинав, выходил на веранду, усаживался на скамейку-качели, не доставая короткими ножками до пола, и начинал трещать, как будильник. Они соперничали друг с дружкой, стараясь ему угодить: вязали ему носки и свитеры, заботились о его питании — подкладывали ему за столом лучшие куски; у мисс Белл не уживались кухарки — дамы вечно толклись на кухне, горя желанием приготовить какое-нибудь лакомство, чтобы убажить своего любимца. Может, они и для судьбы бы старались не меньше, но от него им было мало проку: поздоровается и пройдет мимо, жаловались они.

В последнюю ночь на дереве мы промокли насквозь. Я сильно простудился, Вирена еще сильнее, а наша сиделка Долли чихала всюду. Кэтрин ей помогать не желала:

— Дело твое, лапушка, выноси за этой самой горшки, покуда с ног не собьешься. А на меня не рассчитывай, я и пальцем не шевельну. С меня хватит, я свою ношу свалила.

Долли вскакивала в любой час ночи, отпаивала нас сиропом, чтобы мы могли прочистить горло, поддерживала огонь в печах, чтобы нам было тепло. Но Вирена уже не принимала все это как должное — не то что в былые дни.

— Весной, — говорила она Долли, — мы поедем с тобой путешествовать. Может, съездим к Большому Каньону, навестим Моды-Лору. А не то во Флориду: ведь ты еще океана не видела.

Но Долли была как раз там, где ей хотелось быть. Она никуда не желала ехать:

— Да я никакого удовольствия не получу. После этих роскошных видов все мое привычное таким невзрачным покажется!

Доктор Картер регулярно нас посещал, и однажды утром Долли спросила, не будет ли он так любезен

смерить ей температуру: что-то ей жарко, и слабость такая в ногах... Он тут же ее уложил в постель, сказал — у нее ползучая пневмония, и это очень ее позабавило.

— Ползучая пневмония,— объяснила она судьбе, когда тот пришел ее проведать.— Вы подумайте! Это, видимо, что-то новое. Никогда прежде не слышала. Чувство такое, будто бы на ходулях скачешь. А хорошо! — проговорила она и заснула.

Трое, нет, почти четверо суток она так и не проснулась по-настоящему. Все это время Кэтрин не отходила от нее — дремала, сидя в плетеном кресле, а стояло мне или Вирене зайти на цыпочках в комнату, принималась шепотом отчитывать нас. И без конца обмахивала Долли картинкой с изображением Иисуса, как будто стояла летняя жара. К назначениям доктора Картера она относилась наплевательски — это был просто позор.

— Да я такого и кабану скармливать бы не стала,— твердила она, тыча пальцем в очередное его лекарство.

В конце концов доктор Картер сказал, больную надо отправить в больницу, в противном случае он снимает с себя ответственность. Ближайшая больница была в Брутоне, за шестьдесят миль. Вирена вызвала оттуда скорую помощь. И только понапрасну потратилась. Кэтрин заперлась в комнате Долли и объявила: пусть только кто-нибудь возьмется за ручку двери — ему самому скорая помощь потребуется. Долли не понимала, куда ее хотят везти, она вообще никуда не хотела ехать и все просила:

— Не будите меня. Не надо мне океана.

К концу недели она уже садилась в кровати, а еще через несколько дней окрепла настолько, что смогла возобновить переписку со своими пациентами. Ее тревожили невыполненные заказы на снабдь от водянки — их накапливалось все больше и больше. Но Кэтрин, считавшая, что Долли пошла на поправку только благодаря ей, уверенно заявила:

— Чепуха! Да ты оглянуться не успеешь, как мы снова будем варить во дворе наше зелье.

Каждый день, ровно в четыре, судья появлялся у садовой калитки и свистел мне, чтоб я впустил его. Он нарочно ходил через калитку, а не через парадную дверь — так было легче уклониться от встречи с Виреной. Не то чтоб она была против его посещений — нет, она даже благоразумно припасла на этот случай бу-

тылку коньяку и коробку сигар. Обычно судья что-нибудь приносил Долли в подарок: торт из пекарни «Зеленый кузнечик» или цветы, пухлые бронзовые хризантемы — Кэтрин тут же их изымала под тем предлогом, что они-де весь воздух съедают.

О том, что судья сделал Долли предложение, она так и не узнала, но нюхом чуяла тут что-то для себя неблагоприятное, и потому все его визиты протекали под ее неусыпным надзором: она потягивала купленный для него коньяк и одна говорила за всех. Впрочем, мне думается, ни у судьи, ни у Долли не было особой потребности секретничать: они относились друг к другу спокойно и ровно, как люди, успевшие утвердиться в своей привязанности. И если судье пришлось разочароваться во многом, так только не в Долли: по-моему, она стала для него именно тем, кого он искал в ней, — единственным человеком на свете, которому можно сказать все. Но когда можно сказать все, пожалуй, не о чем говорить, и он сидел у ее постели, довольный тем, что она здесь, рядом, и вовсе не жаждал, чтоб его развлекали. Порой она засыпала, разморенная жаром, и, если она хмурилась или всхлипывала во сне, он тут же будил ее, приветствуя ее возвращение ясной, как день, улыбкой.

Раньше Вирена не позволяла нам купить приемник. От этих пошлых мотивчиков, говорила она, только в мозгах каша. Да и расход какой! Но доктору Картеру удалось ее убедить, что Долли приемник необходим: период выздоровления, как он полагал, будет довольно затяжным, и радио поможет ей скоротать время. Словом, Вирена купила приемник. И отдала за него хорошие деньги, не сомневаюсь. Но до чего же он был безобразный — грубо отлакированный ящик, смахивающий на капот машины. Я вынес его во двор и выкрасил в розовый цвет. И все равно Долли никак не могла решить, брать его в комнату или нет. Зато потом ее, бывало, никак от него не оттащишь. Приемник всегда до того нагревался, хоть цыплят на нем жарь: они с Кэтрин крутили его без конца. Больше всего им нравилось слушать футбол.

— Ну, пожалуйста, не надо, — упрасивала Долли судью, когда тот пытался объяснить ей правила игры. — Мне нравится, что это так непонятно. Все кричат, веселятся. А если б я знала, что к чему, может, мне бы уже не казалось, что все это так замечательно и интересно.

Поначалу судья досадовал, что Долли никак не хочет болеть за какую-нибудь одну команду. Но она желала победы обеим сторонам:

— Я уверена, все они славные мальчики.

Из-за этого самого приемника у нас с Кэтрин как-то дошло до перепалки. Было это в тот день, когда по радио должна была выступить Мод Райордэн,— передача шла с музыкального конкурса на премию штата. Мне, конечно, хотелось ее послушать, и Кэтрин это прекрасно знала, но сама она слушала матч Тьюлейнский колледж — Технологический институт штата Джорджия и не давала мне подступиться к приемнику.

— Да что с тобой стало, Кэтрин? — взорвался я. — Только о себе думаешь, брюзжишь без конца, и все что было по-твоему. Вирена и та до такого не доходила!

Казалось, Кэтрин, возмещая себя за урон, нанесенный ее престижу при столкновении с законом, решила вдвое усилить свою власть в доме Тэлбо; во всяком случае, мы с Долли обязаны были с уважением относиться к тому, что в жилах ее течет индейская кровь, и подчиняться ее тирании. Вообще-то Долли ничего не имела против, но в вопросе о Мод Райордэн приняла мою сторону:

— Пусть Коллин поищет свою станцию. Не по-христиански будет, если мы не послушаем Мод, ведь она нам друг.

Все, кто слушал в этот день Мод, в один голос твердили — она заслужила первую премию. Ей присудили вторую, но родители были довольны: как-никак половина стипендии в университете. И все-таки несправедливо это — играла она замечательно, куда лучше того мальчика, которому дали первую премию. Исполняла она ту самую серенаду, что написал ей отец, и музыка эта опять показалась мне прекрасной, как тогда, в лесу. С того дня я стал часами марать бумагу, выводя ее имя, и воображение мое рисовало ее прелестные черты, ее волосы цвета ванильного мороженого.

Судья подоспел как раз вовремя, чтобы послушать передачу, и я почувствовал — Долли довольна: мы словно опять сидим все вместе среди листвы и слушаем музыку, похожую на полет бабочек.

Через несколько дней я встретил на улице Элизабет Гендерсон. Она побывала в салоне красоты — волосы уложены волнами, ногти покрыты лаком, вообще вид

совсем взрослый, и я сделал ей комплимент по этому поводу.

— Это я к вечеринке. Как твой костюм, готов, надеюсь?

Только тут я вспомнил: это же вечеринка в день всех святых, они с Мод еще просили меня выступить в роли прорипателя.

— Неужели ты забыл! Ой, ну, Коллин! А мы наработались, как лошади! Миссис Райордэн приготовит настоящую жженку. Так что, вполне возможно, пьянка будет и вообще. А главное — это же мы в честь Мод, хотим отпраздновать ее премию и потом... — Элизабет оглядела пустынную улицу — мрачную вереницу безмолвных зданий и телефонных столбов. — Ведь она уезжает — ну ты же сам знаешь, в университет.

Чувство одиночества охватило нас, нам не хотелось расходиться в разные стороны, и я вызвался проводить Элизабет до дому.

По дороге мы зашли в пекарню «Зеленый кузнечик», и Элизабет заказала торт для вечеринки. Миссис Каунти в обсыпанном сахаром фартуке отошла от печи, чтобы справиться о здоровье Долли.

— Надеюсь, ей не очень худо? — жалобно проговорила она. — Это надо же — ползучая пневмония. Вот у моей сестры, так у ней хоть простая была, лежачая. Уж и на том спасибо, что Долли в своей кровати лежит. Слава тебе господи, все вы, братцы, опять дома, у меня отлегло от сердца. Ха-ха-ха! Подумать только — мы теперь можем над всей этой ерундовиной посмеяться. Слушай, я тут как раз кастрюлю с пончиками сняла с плиты, отнеси-ка их Долли да кланяйся ей от меня.

Мы с Элизабет умяли почти все пончики, пока дошли до ее дома, и она предложила мне зайти, добить их со стаканом молока.

Дом Гендерсонов стоял на том месте, где теперь заправочная станция. Было в нем пятнадцать кое-как сколоченных комнат, в которых разгуливал ветер, и он, безусловно, превратился бы в пристанище для бездомного зверья, если бы не плотницкие таланты Райли. Во дворе был сарайчик — его мастерская и убежище. Здесь он обычно сидел по утрам — распиливал бревна, колот дранку. Полки в сарае были забиты останками его бывших увлечений. Чего тут только не было — заспиртованные змеи, пчелы и пауки, истлевающая в бу-



тылке летучая мышь, модели кораблей. От мальчишеского увлечения набивкой чучел остался вонючий зверинец самого жалостного вида, вроде безглазого кролика, зеленоватого, как мясной червь, и вислоухого, словно легавая, — всё экспонаты, которые было бы лучше предать земле. За последнее время я навещил Райли несколько раз. Пуля Верзилы Эдди задела ему плечевую кость, и, что самое мерзкое, ему приходилось носить гипсовую повязку. Под ней все чесалось, да и весила она, как он уверял, фунтов сто. Он не мог ни водить машину, ни гвоздя путем вбить, так что ему оставалось только лодырничать да киснуть.

— Если хочешь повидать Райли, он у себя в сарае. И Мод, наверное, там.

— Как, Мод Райордэн?

Тут было чему удивляться. Всякий раз, как я приходил к Райли, он говорил — посидим-ка лучше в сарае, здесь девчонки не будут нам докучать, и прибавлял хвастливо — через этот порог ни одна баба не смеет переступить.

— Она ему читает. Стихи, драмы. Мод совершенно изумительна. Ведь она никогда со стороны моего брата элементарного человеческого отношения не видела. Но она зла не помнит. И потом, мне кажется, после того, как человек был на волосок от смерти, вот как Райли, он становится восприимчивей ко всяким возвышенным вещам. Она читает ему часами, и он слушает.

Сарай стоял на заднем дворе, в тени смоковниц. Важные, как матроны, плимутроки вперевалку прохаживались вдоль порога, выклеывая семечки из упавших подсолнухов. Полустершаяся детская надпись, выведенная когда-то известкой на дверях, еле внятно остерегала: «Берегись!» Я сразу оробел. Из-за двери доносился голос Мод, тот особый замирающий и напевный голос, которым она читала стихи и который так обожали передразнивать всякие обалдуи у нас в школе. Кому бы ни рассказать, что Райли Гендерсон до такого дошел, всякий наверняка подумал бы — не иначе как он повредился в уме, свалившись с сикомора. Я подкрался к окошку и заглянул внутрь: Райли с сосредоточенным видом разбирал часовой механизм, и по лицу его никак нельзя было предположить, что он слушает нечто более возвышенное, чем писк комара. Он сердито повертел в ухе пальцем, как бы давая выход накопившемуся раз-

дражению. Как раз в тот момент, когда я собрался было стукнуть в окошко, чтобы их испугать, он отодвинул в сторону свои винтики и колесики, подошел к Мод сзади и, перегнувшись через ее плечо, захлопнул книгу, которую она читала вслух. Потом, улыбаясь во весь рот, сгреб ее волосы на затылке и зажал их в кулак. Она поднялась — совсем, как котенок, которого ухватили за шкуру. И тут мне показалось — их окружает сверкающий ободок, какой-то резкий свет обжег мне глаза. Сразу видно было — целовались они не впервые.

Всего с неделю назад я открылся Райли как человеку опытному в такого рода делах, рассказал ему о своих чувствах к Мод. И вот пожалуйста, полюбуйте! Эх, был бы я великаном, сгреб бы этот чертов сарай и разнес его в щепки! Высадить бы сейчас дверь, изругать их обоих! Впрочем, в чем же, собственно, я мог обвинить Мод? Как бы дурно она ни отзывалась о Райли, я-то все время знал, что она равнодушна к нему. А у нас с ней было не так уже много общего; в лучшем случае, мы были с ней добрыми друзьями, а в последние года два и того не было... Я побрел через двор к дому, и чванные плимутроки с издевкой кудахтали мне вслед.

— Как ты быстро! — удивилась Элизабет. — Что, их там нет разве?

Я ответил, — пожалуй, не стоит им мешать, ведь они занимаются такими возвышенными вещами!

Но Элизабет не чувствовала иронии. Хотя по ее сентиментальному виду и могло показаться, что она человек очень тонкий, на самом деле она все понимала страшно буквально.

— Ах, это изумительно, правда?

— Совершенно изумительно.

— Коллин! Господи помилуй, с чего ты вдруг разнюнился?

— Ничего не разнюнился. Просто у меня насморк.

— Ну, надеюсь, до вечеринки у тебя все пройдет. Только смотри, приходи в маскарадном костюме. Райли будет дьявол.

— Что ж, в самую точку.

— А ты чтоб был скелет, как мы уговаривались. Я понимаю, конечно, остался всего один день...

Но я и не собирался идти на эту их вечеринку. Придя домой, я сразу же сел писать Райли письмо. «Дорогой Райли!» Нет. «Уважаемый Гендерсон!» Потом я

вычеркнул «уважаемый». Сойдет и просто «Гендерсон». «Гендерсон, твое предательство разоблачено». Я марал страницу за страницей, вспоминая зарождение нашей дружбы, ее славную историю, и постепенно во мне крепла уверенность, что это ошибка: нет, такой замечательный друг не мог меня предать. И напоследок я стал иступленно его заверять — он мой лучший друг, мой брат. Кончилось тем, что я бросил этот собачий бред в печьку и через пять минут был у Долли в комнате, выясняя, есть ли какой-нибудь шанс завтра к вечеру нарядить меня скелетом.

Портниха из Долли была неважная — она подол не умела подшить. И Кэтрин тоже. Впрочем, Кэтрин считала себя мастерицей на все руки, особенно в тех делах, в которых смыслила меньше всего, — уж такая была у нее натура. Она послала меня в магазин Вирены за семью ярдами самого лучшего черного сатина.

— Уж от семи-то ярдов какие-нибудь обрезочки да останутся, нам с Долли хватит нижние юбки подшить, — заявила она, а потом устроила целый театр: с важным видом принялась снимать с меня мерку. Процедура сама по себе разумная, вот только она понятия не имела, как приложить полученные данные к ножницам и материи.

— Вот из этого кусочка, — говорила она, отчекрживая целый ярд, — славные выйдут штаники. А из этого — чик, чик — черный воротничок, он очень оживит мое старое ситцевое платье.

В общем, на мою долю остался такой лоскуток — карлику срама не прикрыть.

— Кэтрин, голубушка, мы ведь не о своих нуждах думать должны, — напомнила ей Долли.

С обеда до самого вечера они трудились, не разгибая спины. Судью, явившегося с обычным визитом, заставили продевать нитки в иглы — Кэтрин говорила, она этого терпеть не может:

— Прямо кровь в жилах стынет, все одно, что червяка на крючок насаживать.

К ужину она объявила — шабаш и ушла в свой домишко, спрятавшийся за шпалерами с каролинской фасолью.

Но Долли загорелось кончить все поскорей. На нее вдруг напала говорливость. Иголка ее металась вверх и вниз, и так же, как швы, которые она делала, фразы ее ложились причудливой, скачущей линией.

— Ты как думаешь, разрешит мне Вирена устроить вечер? Ведь у нас теперь столько друзей! Райли, Чарли, и потом мы бы могли миссис Каунти позвать, и Мод, и Элизабет, правда? Весной. Устроим вечер в саду. И маленький фейерверк. Мой папа — вот у кого был талант к шитью. Жаль, что я не унаследовала его. В прежние времена многие мужчины умели шить. Был у папы один приятель, так он не знаю сколько призов получил за стеганые одеяла. Папа говорил — это хороший отдых после тяжелой работы в поле и по двору. Коллин, обещаешь мне одну вещь, ладно? Сначала я была против того, чтобы ты у нас жил. Я считала — не дело это, чтобы мальчик рос среди старых женщин, — ох, уж эти старухи с их предрассудками! Но что сделано, то сделано, и теперь я перестала на этот счет беспокоиться. Ты выйдешь в люди, добьешься в жизни многого. Обещаешь мне, что не станешь плохо относиться к Кэтрин. Постарайся не отдаляться от нее. Иной раз я ночь напролет не сплю, все думаю — вот останется она одна-одинешенька. Ну так, — Долли взяла мой костюм в руки, — посмотрим, в пору ли он тебе.

В шагу он резал, а сзади свисал, будто вытянувшиеся трикотажные кальсоны на старике. Штанины вышли широченные, как флотский клеш, один рукав не доходил до запястья, другой закрывал пальцы.

— Да, вид не слишком стильный, — признала Долли. — Но погоди, — добавила она, — вот когда нарисуем кости... Серебряной краской. Вирена как-то купила немножко, флажок подновить — это еще до того, как она ополчилась на правительство. Где-нибудь на чердаке стоит — маленькая такая баночка. Пошарь-ка под кроватью, может, тебе удастся обнаружить мои шлепанцы.

Вставать ей не разрешалось — такого не допустила бы даже Кэтрин.

— Если ты будешь брюзжать, все удовольствие пропадет, — объявила она и сама отыскала свои шлепанцы.

Часы на башне пробили одиннадцать, значит, было половина одиннадцатого — глухая ночь для нашего городка, где в солидных домах двери запираются в девять; но нам казалось, что время еще более позднее, потому что в соседней комнате Вирена захлопнула свои грессбухи и легла спать. Мы взяли в бельевой керосиновую лампу и в ее неверном свете стали на цыпочках подниматься по чердачной лесенке. Наверху было холодно. Мы поста-

вили лампу на бочонок и старались держаться поближе к ней, словно это не лампа, а теплый очаг. Набитые опилками головы, облегчавшие в свое время сбыт шляпканотье, наблюдали за нашими поисками. Стоило нам к чему-нибудь прикоснуться, как сразу же слышался топот легких маленьких ног. Мы опрокинули коробку с нафталином, и его шарики, стуча, раскатились по полу.

— Господи боже мой! — со смехом сказала Долли. — Если Вирена услышит, она тут же шерифа вызовет.

Мы откопали уйму кисточек. А краска, которую мы извлекли из-под груди засохших праздничных гирлянд, оказалась не серебряной, а золотой.

— Но ведь так будет еще красивей, правда? Золото — это просто шикарно. Ой, погляди-ка, что я нашла!

В руках у нее была перевязанная шпагатом коробка из-под обуви. — Мои сокровища, — объяснила она. Поднесла коробку к лампе, открыла ее. Подержала на тусклом свете обломок пустого сота, осиное гнездо, утыканный высохшими гвоздичками апельсин, потерявший от времени запах. Потом показала мне голубое яйцо сойки в колыбельке из ваты.

— У меня были очень строгие принципы. Так что яичко это стащила для меня Кэтрин, это ее рождественский подарок. — Она улыбнулась. Лицо ее показалось мне мотыльком, повисшим над стеклом лампы, — была в нем та же отвага и та же хрупкость. — Чарли сказал: любовь — непрерывная цепь привязанностей. Надеюсь, ты слушал и понял его. Потому что, если ты смог полюбить хоть что-нибудь одно, — она держала в руке голубое яйцо так же бережно и любовно, как судья держал тогда слетевший с дерева лист, — значит, ты сможешь полюбить и другое, а это уже твое достояние, с этим уже можно жить. И ты сумеешь простить все на свете. Ах, да, — она вздохнула, — мы же тебя еще не раскрасили. Мне хочется удивить Кэтрин: скажем ей, что, покуда мы спали, гномы dokonчили твой костюм. Да с ней родимчик приключится!

Часы на башне снова подали вест; она медленно расходилась во все стороны, и каждый звук колыбался, как стяг, над зазябшим, уснувшим городом.

— Я знаю, тебе щекотно, — говорила Долли, выводя кисточкой у меня на груди золотые ребра, — но ты стой тихо, а то я бог знает что натворю. — Потом, окуная кист-

точку в краску, прошла ею вдоль рукавов и штанин; получились золотые полоски — руки и ноги. — Ты непременно запомни все комплименты, какие тебе там делают. Их будет много, — объявила она без всякой скромности, оглядывая свою работу. — Ой, господи! — Она вдруг согнулась, и смех ее весело заплясал в балках. — Видишь, что получилось...

И правда, я был совсем как тот человек, что взялся красить пол и сам загнал себя в угол. Свежевыкрашенный со всех сторон золотой краской, я был загнан в костюм, как в ловушку, — словом, здорово влип, в чем не замедлил обвинить Долли, гневно направив на нее ука-зующий перст.

— А ты покружись, — стала она поддразнивать меня. — Будешь кружиться — быстрее обсохнешь. — И, блаженно раскинув руки, пошла медленно и неловко кружить по теням, исчертившим пол чердака. Ее кимоно развевалось, старые шлепанцы болтались на тонких ногах. Вдруг она оступилась, словно столкнувшись с невидимым партнером, одной рукой схватила за голову, другой — за сердце.

Далеко, где-то на горизонте всех шумов, взвыл паровозный гудок, и тогда я заметил, что глаза ее растерянно замигали, лицо исказила судорога. Я обхватил ее, и непросохшая краска отпечатывалась на ней, и я громко звал:

— Вирена! Кто-нибудь! Помогите!

— Тихо ты, тихо, — прошептала она.

Ночную порой дома возвещают о катастрофе внезапно вспыхивающей скорбной иллюминацией. Кэтрин шлепала из комнаты в комнату и включала не зажигающиеся годами лампы. Дрожа в своем испорченном маскарадном костюме, я сидел в залитой светом передней на одной скамейке с судьей — он прибежал тотчас же, накинув дождевик на фланелевую ночную рубашку, и теперь при каждом появлении Вирены стыдливо поджимал голые ноги, словно юная девушка. На яркий свет наших окон стали сходиться соседи, они шепотом задавали вопросы, и Вирена, выйдя к ним на веранду, объяснила: с ее сестрой, мисс Долли, случился удар. Доктор Картер никого не пускал к ней в комнату, и мы все подчинились ему, даже Кэтрин; включив последнюю лампу, она встала у Доллиной двери, прислонившись к ней лбом.

В передней стояла вешалка для шляп с многочисленными крючками и зеркалом. Бархатная шляпа Долли висела на ней, и перед самым восходом солнца, когда по дому пробежал легонький ветерок, в зеркале отразилась всколыхнувшаяся вуаль.

И тогда я отчетливо понял — Долли покинула нас. Мгновенье тому назад, незримая, она проскользнула мимо меня, и мысленно я последовал за нею. Она перешла городскую площадь, миновала церковь, и вот она уже на горке, и под ней, на лугу, рдеет индейская трава — сюда-то и лежал ее путь.

Тот же путь мы проделали с судьей следующей осенью, в сентябре. Весь год мы с ним почти не виделись. Как-то раз он встретил меня на площади и сказал — заходи, когда вздумается. Я и вправду к нему собирался, но, проходя мимо дома мисс Белл, всякий раз отводил глаза.

Я где-то читал, что жизнь человека — его прошлое и будущее — это спираль: каждый виток уже заключает в себе следующий и направляет его. Может, и так. Но моя собственная жизнь представляется мне в виде нескольких замкнутых кругов, и они вовсе не переходят друг в друга с той же свободой, что витки спирали. Переход из одного круга в другой для меня всегда — резкий скачок, а не плавное скольжение. И меня расслабляет бездействие перед скачком — ожидание той минуты, когда я буду точно знать, куда прыгнуть... После Доллиной смерти я долго висел между небом и землей,

Мне вдруг захотелось весело пожить.

Часами я пропадал в кафе Фила у автоматического бильярда, где выигрышем была кружка пива за счет заведения. Подавать мне пиво было нарушением закона, но Фил рассчитывал, что со временем я унаследую деньги Вирены и тогда, как знать, может, и помогу ему открыть отель. Я напوماживал волосы бриллиантином и гонял на танцульки в соседние города, а по ночам светил девушкам в окна карманным фонариком или швырял камешки о стекло. Я свел знакомство с одним негром на ферме, у которого можно было раздобыть собственной гонки джин под названием «Желтый дьявол». Я обхаживал каждого, у кого была машина.

А все потому, что не хотел проводить ни одной лишней секунды в доме Тэлбо. Воздух там был застоявшийся, сонный — не продохнешь. В кухне у нас водворился

чужой человек — цветная девушка с загнутыми внутрь пальцами на ногах. Весь день она напѣвала. Это было боязливое пенье ребенка, который старается приободрить себя в чужом, мрачном доме. Она была никудышной кухаркой. Она дала пропасть нашей герани. Надо сказать, я поддержал Вирену, когда та решила ее нанять, думал, это заставит Кэтрин снова взяться за дело. Ничуть не бывало. Кэтрин вовсе не проявляла желанья обучать новую девушку и окончательно перебралась в свой домишко на заднем дворе. Прихватила с собой приемник и чувствовала себя там очень уютно.

— Я с себя ношу свалила, обратно уже не взвалю. Мне охота теперь побездельничать, — объявила она.

От безделья ее разнесло, ноги распухли — пришлось сделать разрезы на башмаках. Переняв все повадки Долли, она довела их до крайности, — например, стала ужасная сладкоежка: ужин ей приносили из аптеки-закусочной — две кварталы сливочного мороженого; в карманах у нее шуршали бумажки от конфет. Покуда Доллины платья не перестали на нее налезать, она упорно в них втискивалась, словно этим могла удержать свою подругу при себе.

Бывать у нее стало для меня мукой. Заходил я к ней неохотно и все злился — с какой это стати я должен составлять ей компанию. Как-то я не показывался у нее день, потом три, а потом и неделю. А когда я после таких перерывов снова являлся к ней, мне казалось: и наше затяжное молчанье, и ее небрежное обращение со мной — это все, чтоб меня укорить. Совесть грызла меня, и это мешало мне видеть истину: Кэтрин было решительно все равно, хожу я к ней или нет. И однажды она дала мне это почувствовать: просто выплюнула ватные катышки, подпиравшие ее челюсти. Без ваты речь ее показалась мне такой же невнятной, какой прежде казалась другим. Произошло это в тот момент, когда я выдвинул какой-то предлог, чтоб поскорее уйти. Она сняла крышку со своей пузатой печурки и выплюнула вату в огонь. Щеки ее запали, у нее сразу стал изнуренный вид. Теперь-то я думаю, что это вовсе не было сделано в отместку мне. Она просто дала мне понять, что я свободен от каких бы то ни было обязательств по отношению к ней. Будущее она предпочитала ни с кем не делить...

Райли время от времени подвозил меня на своей ма-



шине; впрочем, я не мог твердо рассчитывать ни на него самого, ни на его «альфу»: с тех пор как он заделался бизнесменом, оба они постоянно были в разгоне. Верница бульдозеров расчищала купленный им на окраине города участок акров в девяносто — он собирался его застраивать. На местных тузов произвел впечатление и другой план Райли: построить на средства города шелкоткацкую фабрику, и чтобы все его жители были в этом деле пайщиками. Кроме возможной прибыли, считал он, это нам обеспечит и рост населения. В «Курьере» появилась восторженная редакционная статья по поводу этого проекта. В ней говорилось — город должен гордиться тем, что взрастил человека такой предприимчивости, как молодой Гендерсон. После этого Райли отпустил усики, снял контору и обзавелся секретаршей в лице своей сестры Элизабет. Мод Райордэн поступила в университет штата, и почти каждую субботу Райли возил к ней своих сестер. Считалось, что это делается ради девочек, — ведь они так скучают по Мод! Объявление о помолвке мисс Мод Райордэн и мистера Райли Гендерсона «Курьер» поместил в первоапрельском номере.

В середине июня они торжественно обменялись кольцами перед алтарем. Мы с судьей были шаферами. Все подружки невесты, кроме сестер Гендерсон, были девичьи из общества, с которыми Мод свела знакомство в университете. «Курьер» назвал их «прелестными дебютантками», — учтивость поистине рыцарская. Невеста была с букетом сирени и жасмина, жених был в гамашах и поглаживал усики. Свадебными подарками был завален целый стол. Я преподнес им шесть кусков душистого мыла и пепельницу.

После свадебной церемонии мы с Виреной возвращались домой под тенью ее черного зонтика. День был мучительно жаркий, зной разбегался волнами, как праздничный перезвон колоколов баптистской церкви, и перспектива долгого лета развертывалась передо мной, безрадостная и безжизненная, как улица в этот полуденный час. Лето, еще одна осень, снова зима... Нет, не спираль, а замкнутый круг. Круг — вон как тень от зонтика. Если уж делать скачок, то... Сердце мое рванулось, я прыгнул.

— Вирена, я хочу уехать.

Мы стояли у нашей калитки.

— Понимаю. Я и сама хочу, — сказала она и закры-

ла зонтик. — Я все думала вместе с Долли поездить. Показать ей океан.

Раньше Вирена казалась высокой из-за своей властной осанки. Теперь она слегка сгорбилась, голова у нее тряслась. Мне самому было странно, что я мог ее так бояться когда-то, — она стала женственной и пугливой, все опасалась кражи, понаделала уйму засовов на дверях, понатыкала громоотводов на крыше. У нее было издавна заведено — в первый день каждого месяца обходить свои владения, собственноручно взимая всякого рода платежи. Когда же она нарушила свой обычай, город заволновался — люди привыкли каждый месяц ждать черного дня, и теперь им словно бы не хватало чего-то. Женщины говорили — это все потому, что у нее нет семьи; после смерти сестры она как потерянная. А мужчины во всем обвиняли доктора Ритца: он ее наизнанку вывернул и в узелок завязал, говорили они, и хоть раньше сами вечно с ней ссорились, теперь осуждали его. Три года тому назад, когда я снова вернулся в этот город, я решил прежде всего навести порядок в имущественных и финансовых документах семейства Тэлбо, и в личных вещах Вирены, среди ключей и карточек Модилоры, обнаружил открытку из Парагвая — она была послана на рождество, через два месяца после смерти Долли:

«Как мы говорим здесь, на юге, *Feliz Navidad*<sup>1</sup>.

Ты скучаешь по мне? Моррис».

И, читая эту открытку, я думал о том, что в последние месяцы глаза Вирены все время немного косили и такая мука была в их взгляде, словно бы обращенном внутрь; и мне вспомнилось, как тогда, у калитки, ее слезившиеся от нестерпимого света глаза вдруг перестали косить, на мгновенье осветившись надеждой.

— Мы могли бы с тобой совершить большое путешествие. Я как раз подумывала о том, чтоб продать кое-что... Кое-какое имущество. Прокатились бы на пароходе — ведь ты еще океана не видел...

Я выдернул из цветущей изгороди веточку жимолости и стал обрывать с нее листья, и Вирена следила за мною взглядом, словно я рвал на куски ее мечту, ее надежду на нашу поездку.

— О... о... — Она потеряла родинку, поблескивавшую

---

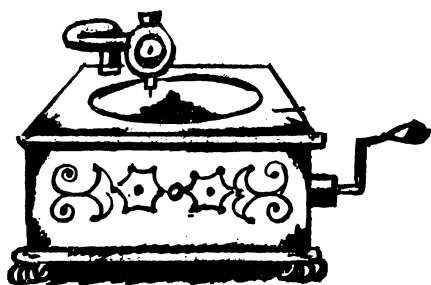
<sup>1</sup> Счастливого рождества (*исп.*).

у нее на щеке, как слеза.— Ладно,— сказала она уже другим, деловым тоном.— Так какие же у тебя замыслы?

Так вот и получилось, что к судье я выбрался только в конце сентября, и зашел я, чтобы проститься. Чемоданы были уложены, Амос Лейгэнд подстриг меня («Котик, ты только смотри, чтоб тебе не вернуться лысым. Я это в том смысле, что они там с тебя постараются скальп содрать, околпачить по-всякому»); я был в новом костюме, новых туфлях, серой фетровой шляпе. («Да вы просто утеха для глаз, мистер Коллин Фенвик! — встретила меня миссис Каунти.— Решил адвокатом стать? И уже обрядился по-адвокатски! Нет, сыночек, целовать я тебя не стану. Да меня удар хватит, если я эдакую красотищу какой-нибудь липкой дрянью измараю! Так ты нам пиши, слышишь?») В тот же вечер поезд должен был увезти меня отсюда и, с помпой промчав через всю страну, доставить в далекий город на севере, где в мою честь уже развеваются флаги.

У мисс Белл мне сказали, что судьи нет дома. Я нашел его на городской площади, и меня словно бы укололо что-то, когда я его увидел. Сильный и элегантный, с маленькой розой в петлице, он сидел в окружении старичков, которым только и остается, что чесать языки, харкать да ждать. Он взял меня за руку и повел от них прочь, и, пока он по-дружески наставлял меня, вспоминая разные случаи из своей студенческой жизни, мы миновали церковь и пошли по дороге, что ведет к Приречному лесу. Эта дорога и этот платан... В тот раз я закрыл глаза, чтоб унести с собою их образ,— разве мог я подумать тогда, что вернусь, разве мог я представить себе, что мысленно буду бродить по этой дороге, буду грезить об этом платане до тех пор, пока они не заставят меня возвратиться!

Ни один из нас словно и не догадывался, куда мы держим путь. С немым удивлением оглядели мы открывающийся с кладбищенской горки вид и рука об руку спустились вниз, на опаленный жарким летом и расцветенный сентябрем луг. Водопад красок обрушился на высохшие, звенящие листья индейской травы, и мне захотелось, чтобы судья услышал то, о чем говорила мне Долли: арфой звенит трава, она собирает наши истории и, вспоминая, рассказывает их,— луговая арфа, звучащая на разные голоса. Мы стояли и слушали.



# РАССКАЗЫ







### Я ТОЖЕ МОГУ ТАКОГО ПОРАССКАЗАТЬ...

Я знаю, что они про меня болтают, и вы можете взять мою сторону или ихнюю — дело ваше. Но и мне есть что о них порассказать — об Юнис и Оливии-Энн, и каждому, у кого котелок варит, станет ясно, кто из нас в самом деле чокнутый. А мне только одного надо — чтобы граждане Соединенных Штатов знали факты.

А факты — вот они: в воскресенье двенадцатого августа нынешнего года нашей эры Юнис пыталась зарубить меня палашом своего папочки, участника Гражданской войны, а Оливия-Энн носилась по всему дому с длиннющим ножом, каким закалывают свиней. Это уже не говоря об их прочих художествах.

Началось все полгода тому назад, когда я женился на Мардж. Вот тут я впервые дал маху. Поженились мы в Мобиле, после четырехдневного знакомства. Обоим нам было по шестнадцать, и она как раз приехала в гости к одной моей родственнице, Джорджии. Теперь-то, когда у меня времени вагон и я могу хорошенько над этим поразмыслить, я просто диву даюсь — и как

я тогда мог в нее втюриться? Ни кожи, ни рожи, и мозгов ни на грош. Правда, она натуральная блондинка, — может, в этом все и дело. Ну так вот, прожили мы три месяца, и Мардж возьми и забеременей. Это вторая моя промашка. Тут она в рев: хочу домой, к маме. Только мамы у нее нет, а есть эти две тетки — Юнис и Оливия-Энн. Тогда я бросаю из-за нее совершенно мировую работу в Мобиле (я был продавцом в магазине самообслуживания) и переезжаю сюда, в Эдмирэлс-Милл — вот уж паршивая дыра, доложу я вам!

Сошли мы с ней с поезда возле товарного склада, а дождь льет как из ведра, — и что же вы думаете, кто-нибудь приехал нас встретить? А я еще отвалил сорок один цент за телеграмму! Жена у меня беременна, а тут топай семь миль под проливным дождем. Да, Мардж тогда здорово досталось: ведь я почти ничего не мог нести из нашего барахла, спину жутко ломит. Скажем прямо, сначала, когда я увидел их дом, то даже ахнул. Большой такой, желтый, спереди — настоящие колонны, а во дворе цветет японская айва, красная и белая.

Юнис и Оливия-Энн увидели, что мы идем, и поджидали нас в холле. Дорого бы я дал, чтобы вы могли взглянуть на них. Клянусь, можно со смеха сдохнуть. Юнис — толстущая старая гримза с огромным задом, он, наверное, центнер тянет. В жару и в холод она разгуливает по дому в совершенно допотопной ночной рубашке — она называет ее «кимоно», хотя это самая обыкновенная бумазейная ночная рубашка, да еще грязная. В довершение всего она жует табак, но жвачку сплевывает украдкой — корчит из себя этакую леди. И все треплется про то, какое она получила прекрасное образование, — нарочно, чтобы меня подкусить; только мне лично на это чихать: я-то знаю, она даже комиксы читает по складам. Но в одном ей не откажешь: как дойдет до денег, она складывает и вычитает до того быстро, что, пожалуй, ей самое место в Вашингтоне, округ Колумбия, где они там печатают денежки. У нее и самой их целая куча! Она-то, ясное дело, уверяет, что у нее их нет, а я знаю, что есть, — тут я как-то случайно обнаружил в вазоне на боковой веранде около тысячи долларов. Я ни одного цента не взял, но Юнис уверяет, будто я спер стодолларовую бумажку, — бессовестное вранье, и больше ничего. Конечно, что Юнис ни скажи, для жителей Эдмирэлс-Милл

все свято — ведь здесь не найдешь человека, который бы ей не задолжал, и если она скажет, что Чарли Карсон (слепой калека лет девяноста, который слег еще в 1896 году) швырнул ее наземь и изнасиловал, то каждый из жителей округа поклянется в этом на Библии, да не на одной, а на целых ста.

Ну, а Оливия-Энн еще хуже, можете мне поверить. Правда, она так не давит на психику, как Юнис, потому что она от рождения придурковатая, — ее и вообще-то надо бы держать где-нибудь на чердаке. Она тощая, зеленая и усатая вдобавок. Сядет на корточки и часами строгаёт палочку длиннющим ножом, а не то устраивает разные гадости вроде той, какую она проделала с Миссис Гарри Стеллер Смит. Правда, тогда я ей поклялся никому про это не рассказывать, но раз эти гадины покушаются на мою жизнь, к чертям собачьим все клятвы!

Миссис Гарри Стеллер Смит была канарейка, любимица Юнис. Она назвала ее так в честь одной женщины из Пенсаколы, которая варит снадобье от всех болезней, — Юнис пьет его от подагры. В один прекрасный день вдруг слышу — в гостиной какая-то возня. Пошел узнать, в чем дело, и что же я вижу? Дверца клетки распахнута, Оливия-Энн с криком «кш! кш!» размахивает метлой — старается выгнать Миссис Гарри Стеллер Смит в открытое окно. Не войди я именно в этот момент, ей все сошло бы с рук. А тут она дико испугалась, как бы я не накапал Юнис, и все мне рассказала, — нехорошо, мол, держать божью тварь в клетке, и потом, пение Миссис Гарри Стеллер Смит невозможно вынести. Мне вроде бы даже стало ее жаль, а тут она еще подкинула мне два доллара, так что я помог ей сочинить подходящую историю для Юнис. Денег я, понятное дело, брать не стал бы, если б не думал, что это облегчит ее совесть...

Первое, что сказала Юнис, когда я вошел к ним в дом, было:

— И вот за такое ты выскочила замуж, Мардж, не спросясь у нас?

А Мардж ей:

— Тетя Юнис, но ведь он красавчик-раскрасавчик, вы не согласны?

Тогда Юнис смерила меня взглядом и говорит:

— Скажи ему, чтоб повернулся кругом.



Я повернулся к ним спиной, а Юнис объявляет:  
— Не иначе, как ты этот огрызок из мусорной кучи вытащила. Ну какой же это мужчина?

Сроду меня никто так не ошарашивал! Ростом я и вправду немножко не вышел, но ведь я же еще расту!

— Самый что ни на есть настоящий мужчина,— говорит ей Мардж.

Тут Оливия-Энн — до сих пор она стояла, разинув рот, да так широко, что мухи запросто могли влетать в него и вылетать обратно,— тоже подает голос:

— Ты слышала, что сказала сестра. Ну какой же это мужчина? Подумать только, этот несчастный огрызок будет еще ходить здесь и выхваляться, что он мужчина! Да он вообще не мужского пола!

А Мардж ей:

— Вы, кажется, забываете, тетя Оливия-Энн, что это мой законный супруг, отец моего будущего ребенка.

Тут Юнис давится этим жутким противным смешком — ни у кого такого не слышал — и говорит:

— Одно могу сказать — на твоём месте я не стала бы этим хвастать, верь слову.

Ничего себе приемчик, а? И это после того, как я бросил совершенно мировую работу в магазине самообслуживания!

Но это все детские игрушки по сравнению с тем, что было после ужина. Когда Блубелл, их прислуга-негрятянка, убрала со стола, Мардж самым сладким голоском спрашивает, нельзя ли нам взять их машину и съездить в Финикс-сити, посмотреть кино.

— Да ты просто спятила! — говорит Юнис.

Честное слово, можно было подумать, что мы ее попросили снять с себя кимоно и отдать нам.

— Да ты просто спятила,— повторяет за ней Оливия-Энн.

— Уже шесть часов,— говорит Юнис,— и если ты вообразила, что я разрешу этому вот огрызку проехать в моем новехоньком «шевроле» — образца тысяча девятьсот тридцать четвертого года — хотя бы до нужника и обратно, то ты просто спятила.

От таких выражений Мардж, ясное дело, в рев.

— Начхай, детка,— говорю я ей.— В свое время мне сколько раз и «кадиллак» водить приходилось.

— Хм-хм! — говорит Юнис.

— Так-то,— говорю я.

А Юнис на это:

— Да если он хотя бы самокат раз в жизни водил, я готова съесть десяток крыс, зажаренных в скипидаре.

— Я не желаю, чтобы о моем муже говорили в таком тоне, — объявляет Мардж. — Вы ведете себя просто странно! Можно подумать, будто я подцепила неизвестно кого, неизвестно где.

— Вот-вот, в самую точку, — говорит Юнис.

— Ты нам пыль в глаза не пускай, номер не пройдет, — вякает Оливия-Энн этим своим противным голосом, ни дать ни взять — рев осла, охаживающего ослицу.

— Мы, знаешь ли, не вчера родились, — подхватывает Юнис.

Тогда Мардж ей говорит:

— Да поймите же вы: я законная жена этого человека, и только смерть может нас разлучить. Три с половиной месяца назад наш брак зарегистрировал по всем правилам мировой судья. Спросите кого угодно. И вообще, тетя Юнис, он свободный гражданин, белый, и ему уже шестнадцать. А потом Джорджу Фар Силвестру неприятно, что об его отце говорят в таком тоне.

Джордж Фар Силвестр — так мы решили назвать малыша, когда он родится. Сила, верно? Только теперь, когда все пошло вперекос, у меня что-то совсем пропали отцовские чувства.

— Да где это слыхано, чтобы девчонка родила от девчонки? — снова заводит Оливия-Энн. (Это она нарочно, чтоб уязвить мое мужское достоинство.) — Вот уж действительно: живешь-живешь, до всего доживешь!

— Ну, хватит, — говорит Юнис. — И чтоб мы больше не слышали про это кино в Финикс-сити.

Тогда Мардж начинает всхлипывать:

— Да-д-а-а, это с Джуди Гарланд картина.

— Ничего, детка, — говорю я ей. — Сдается мне, я видел эту картину в Мобиле еще десять лет назад.

— Беспардонное вранье! — вскидывается Оливия-Энн. — Ах ты, негодяй этакий! Десять лет тому назад Джуди еще не снималась в кино.

Оливия-Энн ни разу не была в кино за все свои пятьдесят два года (она-то скрывает, сколько ей лет, но я послал открыточку в Монтгомери, в законодательное собрание штата, и они мне ответили — очень мило с их стороны), зато выписывает восемь киножурналов. Почт-

мейстерша Деланси говорит — никакой другой почты Оливия-Энн никогда не получает, если не считать каталогов фирмы «Сирс энд Роубэк». Она просто-таки помещана на Гэри Купере — у нее целый сундук и два чемодана битком набиты его фотоснимками.

В общем, встали мы из-за стола, Юнис протопала к окну, высунулась, поглядела на платан и говорит:

— Птицы слетаются на ночлег — пора и нам в постель. Ты, Мардж, ступай в свою прежнюю комнату, а для этого джентльмена я поставила койку на задней веранде.

Прошла добрая минута, пока я усек, что это означает. Тогда я говорю:

— А осмелюсь спросить, что вы имеете против того, чтобы я спал со своей законной женой?

Тут они обе давай на меня орать. А у Мардж сразу же началась форменная истерика:

— Довольно! Довольно! Довольно! Я не могу больше выдержать. Ступай, котик, ложись, где они велят. Завтра что-нибудь надумаем...

— Ей-богу, у этой девочки все-таки есть капля здравого смысла, — говорит Юнис...

— Бедняжечка моя, — причитает Оливия-Энн и, обняв Мардж за талию, тащит ее за собой, — бедняжечка моя, такая молоденькая, такая невинная. Пойдем, выплачемся хорошенько у Оливии-Энн на груди.

Май, июнь, июль и большую часть августа провалялся я, изнывая от жары, на этой окаянной задней веранде — там никакого навеса нет. И Мардж ни одного словечка не сказала в мою защиту, ни разу! Эта часть Алабамы болотистая, москиты здесь такие — буйвола сожрут, а вдобавок еще ядовитые летающие тараканы и целые полчища крыс, таких здоровенных, что могут целый обоз дотащить отсюда до самого Тимбукту. Ох, если бы не наш будущий малыш Джордж, я бы давным-давно отсюда рванул, только пятки засверкали бы. Я это в том смысле, что с самого первого вечера мы с Мардж и пяти секунд не оставались наедине. Вечно одна из них ходит за ней по пятам. Тут как-то раз на прошлой неделе Мардж заперлась у себя в комнате, а меня они нигде не могли разыскать, так их со злости чуть удар не хватил. По правде сказать, я просто ходил в город смотреть, как негры увязывают хлопок в кипы, но потом на-

рочно делал перед Юнис вид, будто мы с Мардж кое-чем занимались у нее в комнате. После этого они заставили и Блубелл нести вахту.

И за все это время у меня даже мелочишки на сигареты не было.

С утра до вечера Юнис меня пилит, чтобы я искал работу.

— Почему этот поганец не подыщет себе приличной работы? — твердит она. Как вы уже, вероятно, заметили, обращается она ко мне только в третьем лице, хотя по большей части, кроме этой принцессы и меня, в комнате никого не бывает. — Если бы в нем было хоть что-нибудь от мужчины, он попытался бы заработать на хлеб этой девочке, вместо того чтоб вырывать у меня кусок изо рта.

Пожалуй, тут надо вам рассказать, что вот уже три месяца и тринадцать дней я сижу почти исключительно на холодных бататах и остатках кукурузной каши, я даже показался два раза доктору Э.-Н. Картеру, но он пока не может определить, есть у меня цинга или нет. А насчет того, что я не работаю, — так хотел бы я знать, что может делать в такой вонючей дыре, как Эдмирэлс-Милл, человек с моими способностями, человек, который бросил мировецкую работу в магазине самообслуживания? Здесь всего-навсего одна лавка, и хозяин ее, мистер Таббервилл, до того обленился, что обслужить покупателя для него мучение. Есть у нас еще баптистская церквушка «Утренняя звезда», но там уже имеется проповедник, жутко занудливый старикашка, Шелл по фамилии. Юнис тут как-то затащила его к нам, чтобы выяснить, можно ли спасти мою душу, и я собственными ушами слышал, как он ей сказал, что нельзя, — я, мол, закоснел в грехе.

Да, но то, как Юнис обработала Мардж, — это вершина всего: она восстановила девчонку против меня самым подлым образом, этого описать невозможно. Ну что вам сказать — Мардж до того обнаглела, что стала огрызаться. Но я ей пару раз как следует врезал, и это дело прекратилось. Да чтобы моя жена посмела со мной нахальничать — не бывать этому, никогда!

Враг обложил меня со всех сторон: Блубелл, Юнис, Мардж и все остальное население Эдмирэлс-Милл (342 чел.). Союзников: ни единого. Такова была обстановка на воскресенье двенадцатого августа, когда

было совершенно покушение на мою жизнь, ни больше, ни меньше.

Накануне было тихо и стояла такая жарница, что камни плавилась. Заваруха началась ровно в два; я потому заметил время, что у Юнис есть эти дурацкие часы с кукушкой — всякий раз, как она выскакивает, у меня душа уходит в пятки. В общем, сидел я себе в гостиной и занимался своим делом: сочинял песенку и подбирал ее на пианино, которое Юнис когда-то купила для Оливии-Энн; она и учителя ей наняла, он должен был таскаться сюда раз в неделю из самого Коламбеса, штат Джорджия. Почтмейстерша Деланси — она была со мной в дружбе, пока не смекнула, что это ей не очень-то выгодно, — рассказывала мне, что однажды под вечер этот распрекрасный учитель выбежал из их дома, словно за ним сам Адольф Гитлер гнался, вскочил в свой «фордик» и поминай, как звали. Так вот, сижу я в гостиной — там все-таки попрохладней — и никому не мешаю, как вдруг вваливается Оливия-Энн, вся голова в этих железных штучках, и давай орать:

— Прекрати этот адский грохот, моментально! Минуты покоя от него нет! И сейчас же отойди от моего пианино! Это не твое пианино, это мое пианино, и, если не отойдешь сейчас же, ты у меня под суд угодишь, — это мигом — в первый же понедельник сентября там будешь, как из пушки.

А все из-за того, что она мне завидует, — я прирожденный музыкант и сочиняю прямо из головы совершенно потрясающие песенки.

— Нет, вы только взгляните, мистер Силвестр, что вы натворили с моими клавишами, а это ведь настоящая слоновая кость! — орет она, подбегая к пианино. — Повыдирал их чуть не с корнем, вот ты что натворил, а ведь все только по злобе, я-то знаю!

Ей отлично известно, что еще до того, как я переступил порог их дома, пианино надо было выбросить на свалку.

Я ей и говорю:

— Раз уж вы такая всезнайка, мисс Оливия-Энн, может, вам любопытно будет узнать, что и у меня есть в запасе довольно-таки занятные истории. Может, некоторые сказали бы мне большое спасибо, если б я им кой-чего порассказал. К примеру, о том, куда подевалась Миссис Гарри Стеллер Смит.

Помните, я рассказывал про Миссис Гарри Стеллер Смит?

Она сразу умолкла и поглядела на пустую клетку, где прежде жила канарейка.

— Но ведь ты дал мне клятву, — говорит она и вся наливается кровью, аж до черноты.

— Может, дал, а может, и нет, — говорю. — Вы тогда, конечно, сделали подлое дело, это было форменное предательство по отношению к Юнис, но если кое-кто оставит кое-кого в покое, я, может, и закрою на это глаза.

В общем, из комнаты она уже вышла до того тихонькая, до того присмирившая — любо-дорого смотреть. А я развалился на этом их жутком диване. Сроду не видел такого кошмарного одра; он из гостиного гарнитура, который Юнис купила в Атланте в тысяча девятьсот двенадцатом году, отвалив за него две тысячи долларов звонкой монетой, — так она, во всяком случае, уверяет. Гарнитур обит черным плюшем с зеленоватыми разводами, и воняет от него, как от мокрой курицы. В одном из углов гостиной стоит огромный стол красного дерева, а на нем две фотографии — папаша и мамаша мисс Юнис и мисс Оливии-Энн. Папаша довольно-таки ничего, но, строго между нами, я уверен, что у него была какая-то примесь негритянской крови. Во время Гражданской войны он был капитаном, и уж этого мне никак не забыть: под камином красуется его палаш, сыгравший довольно важную роль в дальнейших событиях. Мамаша по внешности такая же гадина и кретинка, как Оливия-Энн, хотя, надо признаться, более видная из себя.

Так вот, только я задремал, вдруг слышу вопль Юнис:

— Где он? Где он?

И она вырастает в дверях — руки уперла в толстущие, словно у бегемота, бока, а за спиной у нее топчет вся компания: Блубелл, Оливия-Энн и Мардж.

Сперва Юнис яростно отбивает по полу дробь огромной босой пяткой и обмахивает свою жирную рожу картинкой с изображением尼亚гары. Потом заводит:

— Где она? Где моя сотенная бумажка, которую он спер у меня за спиной, воспользовавшись моей доверчивостью?

— Вот что, это уже последняя капля, чаша моего терпения переполнена, — говорю я, но с дивана не

встаю: до того разомлел от жары, нет сил пошевелиться.

— Ну, чаша переполнена не только у него,— объявляет Юнис, и ее выпученные, как у жука, глаза вот-вот выскочат из орбит.— Эти деньги я отложила себе на похороны, и я требую их обратно. С первого взгляда ясно, что он способен ограбить покойника,— скажете, нет?

— Но, может, он их не брал? — говорит Мардж.

— А вам, барышня, самое время помолчать,— обрывает ее Оливия-Энн.

— Он украл мои деньги, как дважды два,— говорит Юнис.— По глазам видно — его работа.

А я зевнул и давай наворачивать.

— Как всякий раз объявляют во время суда,— говорю,— если которая-нибудь одна сторона выдвинет ложное обвинение против которой-нибудь другой стороны, то первую сторону можно упрятать за решетку, даже если ей самое место в сумасшедшем доме во имя безопасности окружающих.

— Бог его покарает,— говорит Юнис.

— Вот что, сестра,— говорит Оливия-Энн,— давай-ка не будем дожидаться бога.

Тут Юнис с самым зловещим видом медленно подступает ко мне, и ее грязная бумазейная ночная рубашка волочится по полу. Оливия-Энн топаёт за ней по пяткам, Блубелл начинает истошно вопить, а Мардж ломает руки и всхлипывает.

— У-у-у! — скулит Мардж.— Ну, пожалуйста, котик, отдай ей эти деньги.

— «Et tu Brute?»<sup>1</sup> — говорю. (Это из Вильяма Шекспира.)

— Вы только поглядите на этого типа,— говорит Юнис.— Валяется целыми днями, палец о палец не ударит.

— Никчемный малый,— квохчет вслед за нею Оливия-Энн.

— Можно подумать, что родить собирается не эта бедная девочка, а он. (Это опять Юнис.)

Блубелл тоже вносит посильную лепту:

— Верно, как бог свят!

— Ха, в своем глазу бревна не видите, а в чужом — сучок,— говорю я.

— Вот уже три месяца этот жалкий огрызок сидит

---

<sup>1</sup> «И ты, Брут?» (лат.)

на моей шее, и у него еще хватает нахальства меня оскорблять! — не унимается Юнис.

А я в ответ только счистил с рукава пепел и говорю как ни в чем не бывало:

— Доктор Э.-Н. Картер сказал, что у меня цинга в последней стадии и от малейшего волнения я могу упасть в бешенство и кого-нибудь искусать.

Тогда снова встречается Блубелл:

— Мисс Юнис, а почему бы ему не убраться обратно к этой шушере в Мобил? До чего надоело за ним грязь вывозить, мочи нет.

Понятное дело, эта черная образина так меня взбесила, что я окосел от злости. С самым хладнокровным видом встаю, снимаю с вешалки зонтик и давай дубасить ее по башке, пока он не переломился надвое.

— Мой зонтик из настоящего японского шелка! — завизжала Оливия-Энн.

А Мардж как закричит:

— Ты убил Блубелл! Ты убил бедную старую Блубелл!

Юнис отстраняет Оливию-Энн и говорит:

— Сестра, он спятил. Беги! Скорей беги за мистром Таббервиллом!

— А мне мистер Таббервилл не по душе, — заупрямилась Оливия-Энн. — Лучше я за своим ножом сбегаяю.

И шасть к двери. А, думаю, все равно пропадать и ловким броском сбиваю ее с ног. Спина у меня из-за этого разболелась — жуткое дело.

— Он хочет ее убить! — как завопит Юнис, аж стены затряслись. — Он всех нас хочет убить! Я же тебя предупреждала, Мардж! Скорей, детка, подай мне папочкин палаш!

И что же вы думаете — Мардж снимает палаш со стены и подает его Юнис. Вот и толкуйте после этого о преданности жен! В довершение всего Оливия-Энн как наподдаст мне коленкой — и бежать. И сразу же со двора доносятся ее завывания:

Мне довелось пришествие Всевышнего узреть,  
Он топчет гроздь гнева, успевшие созреть...

А Юнис носится за мной по всей гостиной и дико размахивает папочкиным палашом. Но мне каким-то образом удалось взобраться на пианино. Тогда Юнис влезает на вертящуюся табуретку у пианино, — и как



это шаткое сооружение выдержало такую тушу, ума не приложу.

— Слезай оттуда, подлый трус, пока я тебя не проткнула! — выкрикивает она и р-раз меня палашом. Могу доказать — у меня порез остался, сантиметра в два.

Блубелл тем временем очухалась, тоже выползла во двор и принялась распевать этот гимн вместе с Оливией-Эни. Ждали, наверно, что меня вот-вот вынесут ногами вперед, и почем знать, может, тем бы и кончилось, не хлопнись Мардж в обморок.

Единственный ее похвальный поступок, я так считаю.

Что было потом, не могу сказать точно; помню только, что в гостиную опять ворвалась Оливия-Эни со своим длиннющим ножом и целой сворой соседей. Но тут гвоздем программы стала Мардж, — кажется, они поволокли ее к ней в комнату. В общем, как только они выкатились из гостиной, я забаррикадировал дверь — приткнул к ней все эти черные плюшевые кресла в зеленоватых разводах, и огромный стол красного дерева — он, наверно, тонны две тянет, — и вешалку для шляп, и еще много чего. Потом закрыл окна и опустил шторы. Да, еще раньше я обнаружил там пятифунтовую бонбоньерку с пьяной вишней, называется «Сладкая любовь»; так что в данный момент я уплетаю вкусные сочные вишни в шоколаде. Они стучатся, зовут меня, умоляют открыть. То-то же, теперь совсем по-другому запели! А я хоть бы хны: подхожу время от времени к пианино и наигрываю песенки, — пускай знают, что мне весело!



### БУТЫЛЬ СЕРЕБРА

После занятий в школе я обычно работал в аптеке «Валгалла». Владельцем ее был мой дядя, мистер Эд Маршалл. Я называю его мистером Маршаллом, потому что все, даже собственная жена, звали его «мистер Маршалл». А вообще-то он был человек симпатичный.

Аптека была хоть и несколько старомодная, но зато просторная, темноватая и прохладная, — летом во всем городке не было места приятней. Слева от входа, за табачным прилавком, как правило, возвышался сам мистер Маршалл — приземистый, с длинными закрученными седыми усами на скуластом румянном лице, придававшими ему весьма мужественный вид. В глубине помещения находилась красивая старинная стойка для газировки; ее пожелтевшая мраморная поверхность была отполирована тщательно, но без вульгарного блеска. Мистер Маршалл приобрел ее в тысяча девятьсот десятом

году на аукционе в Новом Орлеане и очень ею гордился. Сидя у стойки на одном из высоких шатких табуретов, вы могли видеть в старинных зеркалах свое отражение — тускловатое, словно при свечах. Все главные товары были выставлены в застекленных антикварных шкафчиках, запиравшихся медными ключами. В аптеке всегда стоял запах мускатного ореха, сиропов и прочих вкусных вещей.

Жители нашего округа частенько наведывались в «Валгаллу», покуда в городе не объявился некий Руфус Макферсон — он тоже открыл аптеку, прямо напротив нашей, на другой стороне главной площади. Старый Руфус Макферсон оказался сущим злодеем — он переманил у моего дядюшки почти всех клиентов. Он завел у себя всякие новомодные штучки вроде разноцветных лампочек и электрических вентиляторов; подъезжавших к аптеке клиентов обслуживал прямо в машине; приготовлял сандвичи на заказ. Понятно поэтому, что, хотя некоторые из наших завсегдатаев и сохранили верность мистеру Маршаллу, большинство из них не смогло устоять перед соблазнами, которые пустил в ход Руфус Макферсон.

Сперва мистер Маршалл решил его игнорировать: при упоминании его имени он только фыркал, покручивал усы и глядел в сторону. Но видно было, что он здорово накален и с каждым днем накаляется все сильнее.

Как-то раз, в середине октября, когда я зашел в аптеку, мистер Маршалл сидел у стойки с Хаммураби; они играли в домино и попивали винцо. Этот самый Хаммураби, уверявший, что он египтянин, подвизался у нас в качестве зубного врача, но практики у него почти не было, так как у жителей нашего округа зубы на редкость крепкие благодаря свойствам здешней воды; поэтому большую часть времени Хаммураби торчал в аптеке и был лучшим приятелем моего дяди. Он был красавец-мужчина, этот Хаммураби, — смуглый, высокий, футов семи росту, и мамыши у нас в городке старались прятать от него своих дочек, хотя сами строили ему глазки. Говорил он без всякого акцента, и мне всегда казалось, что он такой же египтянин, как выходец с Луны.

Словом, они с дядей играли в домино и потягивали красное итальянское вино, подливая себе из четырехлитровой бутылки. Зрелище грустное, потому что мистер Маршалл был известен как ярый противник спиртного,

и я, понятное дело, подумал: ох ты, черт, значит, все-таки Руфус Макферсон допек его. Но оказалось, что дело вовсе не в этом.

— Эй, сынок, — обратился ко мне мистер Маршалл, — иди-ка сюда, выпей стаканчик красного.

— Правильно, помоги нам с ним разделаться, — подхватил Хаммураби, — вино покупное, жаль его выливать.

Много позже, уже под вечер, когда бутыль наконец опустела, мистер Маршалл взял ее в руки.

— Что ж, теперь посмотрим! — сказал он и вышел на улицу.

— Куда это он? — спросил я.

— О... о... о... — только и сказал Хаммураби, любивший меня подразнить.

Прошло с полчаса, и мой дядя вернулся, сгибаясь под тяжестью своей ноши и сердито ворча. Он водрузил бутыль на стойку и отступил на шаг, с улыбкой потирая руки.

— Ну, как на ваш взгляд?

— О... о... о... — вновь сказал Хаммураби.

— Ух ты! — сказал я.

Бог ты мой, это была та самая бутыль, но с нею произошло чудесное превращение — теперь она была доверху наполнена серебряными монетками по пять и десять центов, тускло поблескивавшими сквозь толстое стекло.

— Здорово, а? Это мне в Первом национальном банке насыпали. Монета покрупнее не пролезает в горлышко. Ну да все равно, там целая куча денег, доложу я вам.

— А для чего это, мистер Маршалл? — спросил я. — Ну то есть в чем тут идея?

Мистер Маршалл заулыбался еще шире.

— Бутыль с серебром, скажем так...

— Кубышка на конце радуги, — вставил Хаммураби.

— ...а идея, как ты выражаешься, — в том, чтобы люди старались угадать, сколько тут денег. Скажем, купил клиент чего-нибудь на четвертак — и пожалуйста, пусть попытает счастья. Чем больше он будет покупать, тем больше у него шансов на выигрыш. Все цифры, какие мне станут называть, я буду записывать в бухгалтерскую книгу, а в сочельник мы их зачитаем, и чья окажется всего ближе к правильной, тому и достанется вся эта музыка.

Хаммураби кивнул с торжественным видом.

— Санта-Клауса из себя разыгрывает, — сказал он. — Всемогущего, доброго Санта-Клауса. Пойду я домой и напишу книгу: «Искусное убийство Руфуса Макферсона».

Он иногда и вправду строчил рассказы, а потом рассылал их по журналам. Но всякий раз они приходили обратно.

Удивительно, просто уму непостижимо, до чего бутыл с серебром завладела воображением жителей нашего округа. Давно уже дядюшкина аптека не знала такого наплыва покупателей — с тех самых пор, как Тюли, начальник станции, совершенно спятил, бедняга, и стал уверять, что обнаружил за товарным складом нефть, после чего в наш городок валом повалил народ — рыть поисковые скважины. Даже бездельники, которые целыми днями толклись в бильярдной и сроду ни на что гроша не выложили, если только это не имело отношения к выпивке или к женщинам, и те вдруг стали расходовать свою скудную денежную наличность на молочный коктейль.

Несколько пожилых дам публично осудили затею мистера Маршалла как разновидность азартной игры; впрочем, особого шума они поднимать не стали, а некоторые из них под тем или иным предлогом даже заходили в аптеку попытать счастья. Школьники прямо-таки помешались на этой бутылке, и я вдруг стал среди них весьма популярен — они вообразили, что мне известно, сколько там серебра.

— Я вам скажу, в чем тут дело, — говорил Хаммураби, закуривая египетскую сигарету (он заказывал их по почте в одной нью-йоркской фирме). — Вовсе не в том, в чем вы думаете, — не в жадности, словом. Нет. Тайна — вот что всех завораживает. Глядишь ты на эти монетки, так разве же ты думаешь: ага, тут их столько-то? Нет, нет. Ты спрашиваешь себя: а сколько их тут? Вот в этом вся суть, и для каждого она означает свое. Понятно?

Ну, а Руфус Макферсон, тот просто на стену лез. Ведь всякий торговец возлагает на рождество особые надежды — эти несколько дней приносят ему изрядную долю годовой выручки. А тут вдруг покупателей силком не затащишь. Руфус решил собезьянничать — завел у

себя такую же бутылку, но так как он был скрягой, то наполнил ее медными центами. Мало того, он написал редактору «Знамени», нашей еженедельной газеты, письмо, где утверждал, что мистера Маршалла следует «вымазать дегтем, обвалить в перьях и вздернуть за то, что он превращает невинных детей в заядлых игроков, уготовляя им тем самым прямой путь в ад». Сами понимаете, что после этого он сделался всеобщим посмешищем. Заслужил презрение всего города, и больше ничего. В общем, к середине ноября ему не оставалось ничего другого, как стоять на тротуаре у дверей своей аптеки и с горечью взирать на веселую кутерьму в стане противника.

Примерно в это время у нас в аптеке и появился Ноготок со своей сестрой. Был он не из наших, городских, во всяком случае, раньше его никто здесь не видел. Он говорил, что живет на ферме в миле от Индейского Ручья, что мать его весит всего-навсего тридцать кило, а у старшего брата есть скрипка, и, если кому нужно, он может за пятьдесят центов сыграть на свадьбе. А еще он сообщил, что его звать Ноготок, что другого имени у него нету и что ему двенадцать лет. Но Мидди, его сестра, говорила, что ему всего восемь. Волосы у него были прямые темно-русые; маленькое обветренное лицо постоянно напряжено; зеленые глаза глядели понимающе, очень умно, настороженно. Был он низенький, щуплый, сплошной комок нервов, носил всегда одно и то же — красный свитер, синие холщовые штаны и огромные башмаки, хлопавшие при каждом его шаге.

Первый раз он явился к нам в дождь. Волосы его слиплись и покрывали голову сплошной шапкой, башмаки были облеплены рыжей глиной, — видно, он шел проселками. Небрежной ковбойской походкой он направился к мраморной стойке, где я перетирал стаканы; Мидди шла за ним следом.

— Я так прослышал, что вы заимели полную бутылку денег и хотите ее отдать, — сказал он, глядя мне прямо в глаза. — Раз уж вы ее все одно отдадите, так сделали бы доброе дело — отдали бы ее нам. Меня звать Ноготок, а вон она — моя сестра, Мидди.

Мидди была грустная-грустная девочка, явно старше братишки и намного выше его — сущая жердь. Корот-

кие серые, словно пакля, волосы, жалостно бледное лицо с кулачок. Выцветшее ситцевое платье не прикрывало костлявых коленок. У нее были плохие зубы, и, чтобы это скрыть, она сжимала губы в ниточку, как старушка.

— Прошу извинить меня,— сказал я,— но вам следует обратиться к мистеру Маршаллу.

И он безо всяких тут же к нему обратился. Мне слышно было, как дядя объясняет ему, что нужно сделать, чтобы выиграть бутылку с серебром. Нюготок внимательно слушал и время от времени кивал. Потом снова подошел к стойке и осторожно погладил бутылку.

— Славная штучка, а, Мидди?

— А они ее нам отдадут?

— Не... Перво-наперво вот что — нужно угадать, сколько там денег. Да прежде купить чего-нибудь на четвертак, чтоб разрешили отгадывать.

— Ишь ты, четвертак! Нет его у нас. Да где его взять-то, сам подумай.

Нюготок насупил, потер подбородок.

— Ну это что... Это уж я соображу. Заковыка не в том: мне никак нельзя, чтобы вышла промашка. Мне надо знать точно.

Через несколько дней они снова пришли в аптеку. Нюготок забрался на стул у стойки и решительным тоном спросил два стакана газировки — один для себя, другой для Мидди. На этот раз он сообщил нам кое-какие сведения о своих родственниках.

— ...а еще есть у нас дедушка, материн отец, он каджун и по-английски говорит плохо. А братишка мой — тот, что на скрипке играет,— так его три раза сажали. Через это нам и пришлось сматываться из Луизианы,— подрался с одним парнем и здорово его бритвой порезал. Из-за одной бабы, она на десять лет его старше. Белобрысая такая.

Мидди, робко стоявшая поодаль, забеспокоилась:

— Зря ты, Нюготок, про наши семейные дела болтаешь.

— А ну, умолкни, Мидди,— оборвал он ее, и Мидди сразу умолкла.— Хорошая девчушка,— добавил он и, повернувшись, погладил ее по голове.— Только вот приходится ее окорачивать. Иди-ка, голуба, посмотри книжки с картинками, а насчет зубов не переживай. Нюготок для тебя кое-что сообразит, дай только мне повернуть одно дельце.

Состояло же дельце в том, чтобы паять на бутыль. Подперев рукой подбородок, он глядел на нее долго-долго, не мигая, так и пожирал ее глазами.

— Мне одна женщина в Луизиане сказала — я могу видеть такое, чего другие не видят. Потому что я в сорочке родился.

— Но тебе ничем не углядеть, сколько там денег, — сказал я. — Лучше уж назови первую цифру, какая на ум взбредет, может, как раз и попадешь в точку.

— Ну да еще, — сказал он. — Этак запросто маху дашь. А мне ошибиться никак нельзя. Не, я так рассудил — чтобы уж было наверняка, надо все монетки пересчитать, до одной.

— Давай пересчитывай!

— Что пересчитывать? — неожиданно раздался голос Хаммураби — он как раз вошел в аптеку и теперь усаживался у стойки.

— Этот малец собирается пересчитать все деньги в бутылки, — объяснил я.

Хаммураби взглянул на Ноготка с интересом.

— А как же ты, сынок, собираешься это сделать?

— Сосчитаю, и все, — как ни в чем не бывало ответил Ноготок.

Хаммураби рассмеялся.

— Ну, для этого надо, сынок, чтобы глаза у тебя все насквозь видели, как рентген. Вот ведь какое дело.

— Вовсе и нет. Для этого надо только в сорочке родиться. Мне одна женщина в Луизиане сказала. Она была колдунья и во мне души не чаяла; как-то раз хотела она взять меня на руки, а мама не дала, так она напустила на нее порчу, и теперь в маме весу всего тридцать кило.

— Оч-чень ин-те-ресно! — только и сказал Хаммураби, бросив на Ноготка подозрительный взгляд.

К ним подошла Мидди, крепко сжимая в руках «Секреты экрана», и показала Ноготку один из снимков.

— Ой, ну до чего же хорошенькая! Ты глянь-ка, глянь, Ноготок, какие у ней зубы красивые, один к одному.

— Да ладно, не переживай, — ответил он.

Когда они ушли, Хаммураби заказал бутылку «Нехи» и стал его попивать, куря сигарету.

— И вы считаете этого малыша вполне нормальным? — вдруг спросил он с удивлением в голосе.



По-моему, лучше всего проводить рождество в маленьком городке. Здесь раньше чувствуется наступление праздника — все как-то быстрее преобразуется и оживает под его чарами. Уже в начале декабря двери домов разукрашены гирляндами, в витринах пламенеют красные бумажные колокольчики, поблескивают слюдяные снежинки. Ребятя совершает вылазки в лес и притаскивает оттуда пахучие свежие елки. Хозяйки пекут рождественские пироги — они открывают банки с заранее заготовленной сладкой начинкой, откупоривают бутылки с наливками. На площади перед судом высится огромная елка, увешанная серебряной канителью и разноцветными лампочками, которые вспыхивают с наступлением сумерек. В предвечерние часы из пресвитерианской церкви доносятся рождественские гимны — это хор готовится к ежегодному представлению. Во всем городке цветет японская айва.

Единственным, кого словно бы не затрагивала эта радостная праздничная атмосфера, был Ноготок. Он взялся за свое дельце — подсчет денег в бутылки — с величайшей настойчивостью и дотошностью. В аптеку приходил изо дня в день — уставится на бутылку, наступит брови и что-то бормочет себе под нос. Сперва мы смотрели на него, как замороженные, но потом это всем надоело, и мы перестали обращать на него внимание. Больше он так ничего и не купил, — должно быть, не мог наскрести четвертак. Иной раз он перебрасывался словом с Хаммураби — тот относился к нему с участливым любопытством и время от времени покупал ему засахаренный орех или солодкового корня на цент.

— Вы по-прежнему считаете, что у него не все дома? — как-то спросил я Хаммураби.

— Полной уверенности у меня нет, — ответил он. — Но когда разберусь, скажу тебе точно. По-моему, он недоедает. Свою-ка я его в «Радугу» и накормлю жареным мясом.

— Наверно, он предпочел бы получить от вас четвертак.

— Нет. Хорошая порция жаркого — вот что ему нужно. И вообще, лучше будет, если он не станет угадывать. Жутко нервный мальчонка и странный такой... Если все у него сорвется, каково будет мне сознавать, что травил его в это я. Ой, жаль его будет ужасно!

Но мне, откровенно говоря, Ноготок казался в ту

пору просто забавным. Мистер Маршалл жалел его, а заходившие к нам ребяташки повадились было его дразнить, но он не обращал на них никакого внимания, и понемногу они от него отстали. Когда ни придешь, он сидит у стойки, наморщив лоб и неотрывно глядя на бутылку. И так поглощен своим делом, что по временам у меня появлялось какое-то жуткое ощущение, — может, его здесь и нет вовсе? Но только, бывало, в это поверишь, он вдруг очнется и скажет что-нибудь вроде:

— Слышь, а хорошо бы, здесь оказалась монета тринадцатого года. Мне один парень говорил, он где-то видел такую монету, ей пятьдесят долларов цена!

Или:

— Мидди будет важной леди в кино. Они загибают кучу деньжищ, эти леди из кино. Тогда уж нам до самой смерти не надо будет капустный лист жевать. Да только Мидди говорит — не может она сниматься в кино, пока красивых зубов не вставит.

Мидди не всегда приходила вместе с братом. Когда она не являлась, Ноготок бывал сам не свой, на него нападала робость и вскоре он уходил.

Хаммураби выполнил свое обещание — он повел его в кафе и накормил жареным мясом.

— Что ж, мистер Хаммураби симпатичный, — рассказывал после Ноготок. — Только выдумки у него какие-то чудачки — воображает, что если бы он жил в этом самом Египте, то был бы там королем или вроде того.

А Хаммураби потом говорил нам:

— Малыш так трогательно верит, что выиграет, — это просто за душу берет. Но мне лично наша затея, — тут он показал на бутылку с серебром, — начинает внушать омерзение. Жестко это, давать человеку такую надежду, и я страшно жалею, что впутался в это дело.

Завсегдатаи нашей аптеки больше всего любили потолковать о том, кто что купил бы на выигранные деньги. В разговорах этих обычно участвовали Соломон Кац, Фиби Джонс, Карл Кунхард, Пьюли Симмонз, Эдди Фокс克罗фт, Марвин Финкл, Труди Эдвардс и негр по имени Эрскин Вашингтон. Кто думал съездить в Бирмингем и сделать там перманент, кто мечтал о подержанном пианино, кто — о шетлендском пони, кто — о золотом браслете, кто хотел купить серию приключенческих книг, а кто — застраховать свою жизнь.

Как-то раз мистер Маршалл спросил Ноготка, на что истратил бы деньги он.

— Это секрет,— объявил Ноготок, и, как мы ни бились, выведать у него ничего не смогли. Так что мы просто решили: о чем бы он там ни мечтал, это, должно быть, и впрямь нужно ему позарез.

Настоящая зима обычно наступает в наших краях только в конце января и бывает довольно короткой и мягкой. Но в том году за неделю до рождества начались небывалые холода. Их у нас до сих пор вспоминают — до того страшная была стужа. В трубах замерзла вода; те, кто не удосужился запастись достаточно топлива для камина, по целым дням не вылезали из постели, дрожа под ватными одеялами; небо приобрело угрюмый и странный свинцовый оттенок, как перед бурей; солнце побледнело, словно луна на ущербе. Дул резкий ветер, он крутил сухие осенние листья, падавшие на обледенелую землю, и дважды срывал рождественское убранство с огромной елки на площади возле суда.

В домишках у шелкоткацкой фабрики, где ютилась самая беднота, семьи сходились по вечерам вместе и рассказывали в темноте разные истории, чтобы хоть на время забыть о холоде. Фермеры прикрывали зябкие растения джутовыми мешками и молились; впрочем, кое-кому из сельских жителей неожиданные морозы были на руку — они закалывали свиней и везли на продажу в город свежую колбасу. У входа в магазин Вулворта стоял Санта-Клаус в красном марлевом балахоне — это был мистер Джадкинс, городской пьяница. У него была большая семья, и потому все в городе были довольны, что в эти дни он трезв хотя бы настолько, чтоб заработать доллар. В церкви несколько раз устраивали праздничные вечера, и на одном из них мистер Маршалл нос к носу столкнулся с Руфусом Макферсоном; они крупно поговорили,— впрочем, до драки дело не дошло...

Как я уже упоминал, Ноготок жил на ферме, примерно в миле от Индейского Ручья,— значит, что-нибудь милях в трех от города, прогулка изрядная и довольно тоскливая. И все-таки, несмотря на холод, он ежедневно являлся в аптеку и просиживал до закрытия, а так как день становился все короче, то уходил он, когда уже было темно. Иной раз его подвозил на машине мастер с шелкоткацкой фабрики, но это случалось редко, да и то часть пути ему приходилось идти пешком. Вид

у него был усталый и озабоченный, он всегда приходил к нам иззябший и трясся от холода. Едва ли под красным свитером и синими штанами у него было теплое белье.

За три дня до рождества он неожиданно объявил:

— Ну вот, я кончил. Теперь я знаю, сколько в бутылке денег.

В его словах была такая торжественная, глубокая вера, что в них нельзя было усомниться.

— Давай, давай, сынок, сочиниай,— подхватил Хаммураби, сидевший в аптеке.— Не можешь ты этого знать. И зря задуриваешь себе голову, ведь будешь потом умирать.

— Да что вы меня все учите, мистер Хаммураби. Я и сам знаю, что к чему. Вот одна женщина в Луизиане, так она мне сказала...

— Слышал, слышал. Но пора об этом забыть. На твоём месте я пошел бы домой, больше сюда не ходил и постарался бы позабыть про эту проклятую бутылку.

— Мой брат нынче вечером играет на свадьбе в Чероки-сити, он мне даст четвертак,— сказал Ноготок упрямо.— Завтра я попытаю счастья.

Назавтра я даже разволновался, когда Ноготок и Мидди явились в аптеку. У него и в самом деле был четвертак, для пущей верности он завязал его в уголок красного носового платка. Держась за руки, они с Мидди ходили вдоль застекленных шкафчиков и шепотом советовались, что им купить. В конце концов они выбрали крошечный, с наперсток величиной, флакончик цветочного одеколона. Мидди тут же открыла его и полила себе голову.

— Ой, до чего ж дух приятный!.. Пречистая дева, я сроду такого не слышала. Ноготок, родимый, дай-ка я тебе волосы сбрызну.

Но Ноготок не дался.

Пока мистер Маршалл доставал грессбух, куда он записывал все ответы, Ноготок подошел к стойке и, обхватив бутылку с серебром, стал нежно ее поглаживать. От волнения у него блестели глаза, пылали щеки. Все, кто был в это время в аптеке, столпились вокруг него. Мидди стояла поодаль, почесывая ногу, и нюхала одеколон. Хаммураби не было.

Мистер Маршалл послунывил кончик карандаша и улыбнулся:

— Ну давай, сынок. Так сколько там?

Ноготок набрал побольше воздуха.

— Семьдесят семь долларов тридцать пять центов,— выпалил он.

В том, что он не округлил цифру, уже было что-то необычное — другие непременно называли круглую сумму. Мистер Маршалл торжественным голосом повторил ответ и записал его в книгу.

— А когда мне скажут, выиграл я или нет?

— В сочельник.

— Стало быть, завтра — да?

— Стало быть, завтра,— как ни в чем не бывало ответил мистер Маршалл.— Приходи к четырем часам.

За ночь ртуть в градуснике опустилась еще ниже, а перед рассветом вдруг хлынул по-летнему быстрый ливень, и назавтра обледеневший город так и сверкал на солнце, напоминая северный пейзаж с открытки,— на деревьях поблескивали белые сосульки, мороз разрисовал все окна цветами. Мистер Джадкинс поднялся спозаранку и, неизвестно зачем, топал по улицам и звонил в колокольчик, то и дело прикладываясь к бутылке виски, которую доставал из заднего кармана брюк. День был безветренный, и дым из труб лениво полз вверх, прямо в тихое замерзшее небо. Часам к десяти хор в пресвитерианской церкви уже гремел вовсю, и городские ребятишки, напялив страшные маски, совсем как в день всех святых, с диким шумом гонялись друг за дружкой вокруг площади.

Около полудня в аптеку явился Хаммураби помочь нам все приготовить к торжественному моменту. Он принес увесистый кулек с мандаринами, и мы умяли их все до одного, бросая кожуру в новенькую пузатую печурку, которую мистер Маршалл сам себе преподнес на рождество. Затем мой дядюшка снял со стойки бутылку, старательно обтер ее и водворил на стол, передвинутый на середину помещения. Этим его помощь и ограничилась; потом он развалился в кресле и, чтобы как-то убить время, стал завязывать и развязывать зеленую ленту на горлышке бутылки. Так что вся оставшаяся работа свалилась на нас с Хаммураби. Мы подмели

пол и протерли зеркала, смахнули пыль со шкафов, развесили под потолком красные и зеленые ленты из гофрированной бумаги. Когда мы кончили, аптека приобрела очень нарядный вид. Но Хаммураби, с грустью оглядев плоды наших трудов, вдруг объявил:

— Ну, теперь я, пожалуй, пойду.

— А разве ты не останешься? — оторопело спросил мистер Маршалл.

— Нет, нет, — ответил Хаммураби и медленно покачал головой. — Не хотелось бы мне видеть, какое будет у мальчугана лицо. Как-никак праздник, и я намерен веселиться напропалую. А разве я смогу, имея такое на совести? Черт, да мне потом не заснуть.

— Ну, как угодно, — сказал мистер Маршалл и пожал плечами, но видно было, что он глубоко уязвлен. — Такова жизнь. И потом, кто знает? Может, он выиграет.

Хаммураби тяжело вздохнул.

— Какую цифру он назвал?

— Семьдесят семь долларов тридцать пять центов, — ответил я.

— Нет, это же просто фантастика, а? — воскликнул Хаммураби. Плюхнувшись в кресло рядом с мистером Маршаллом, он закинул ногу за ногу и закурил сигарету. — Если у вас найдется пастилка, я бы пососал, а то привкус какой-то противный во рту.

Приближался назначенный час, а мы все трое сидели вокруг стола, и на душе у нас кошки скребли. За все время мы даже словом не перемолвились. Игравшие на площади ребятишки разбежались, и теперь с улицы доносился лишь бой часов на башне суда. Аптека еще была закрыта, но народ уже прохаживался взад и вперед по тротуару, заглядывая в витрину. В три часа мистер Маршалл велел мне отпереть дверь. Минут через двадцать в аптеке яблоку негде было упасть. Все нарядились, в воздухе стоял сладкий запах — это благоухали девчонки с шелкоткацкой фабрики. Они проталкивались вдоль стен, карабкались на стойку, лезли, куда только могли. Вскоре толпа выплеснулась на тротуар и запрудила мостовую. На площади выстроились запряженные лошадьми фургоны и старые фордики, в которых прикатили фермеры со своими семьями. Кругом шумели, смеялись, перебрасывались шутками. Несколько пожилых

дам возмущались поведением мужчин помоложе — чего они толкаются и сквернословят,— но уйти никто не ушел. У бокового входа собралась кучка негров, те веселились вовсю. Раз уж представилась возможность поразвлечься, все старались не упустить ее — ведь обычно у нас здесь такая тишь, редко когда что случается. Можно смело сказать — в тот день у аптеки собрались все жители нашего округа, за исключением больных и Руфуса Макферсона. Я огляделся, нет ли где Ноготка, но его что-то не было видно.

Мистер Маршалл прочистил горло и захлопал в ладоши, требуя внимания. Когда шум утих и нетерпение публики стало достаточно ощутимым, он выкрикнул, словно на аукционе:

— А теперь слушайте меня все. Вот в этом конверте,— тут он поднял над головами конверт из плотной бумаги,— так вот, здесь листок с ответом, и известен он пока что лишь господу богу да Первому национальному банку, ха-ха. А в эту книгу,— и он поднял другой рукой толстый грессбух,— я записывал цифры, которые вы мне называли. Вопросы есть?

Полнейшее молчание.

— Прекрасно. Теперь, если кто-нибудь вызовется мне помочь...

Никто не шевельнулся; казалось, толпу сковала неодолимая робость; даже рьяные любители покрасоваться перед публикой, и те смущенно переминались с ноги на ногу. Вдруг раздался громкий голос:

— А ну, дайте-ка мне. Посторонитесь маленько, мэм, будьте добры.

Это был Ноготок, он проталкивался сквозь толпу, а следом за ним пробирались Мидди и долговязый парень с сонными глазами,— должно быть, тот самый брат, который играл на скрипке. Ноготок был одет, как всегда, только лицо оттер докрасна, надраил до блеска ботинки и так пригладил волосы, что они прилипли к коже.

— Мы не опоздали? — спросил он, часто дыша.

Вместо ответа мистер Маршалл спросил:

— Стало быть, ты готов нам помочь?

Сперва Ноготок смутился, потом решительно кивнул.

— Есть у кого-нибудь возражения против этого молодого человека?

Тишина по-прежнему была мертвая. Мистер Маршалл передал конверт Ноготку, тот спокойно взял его, но прежде, чем вскрыть, внимательно его оглядел, покусывая нижнюю губу. Все это время толпа безмолвствовала, лишь изредка то тут, то там слышалось покашливание да тихонько позвякивал колокольчик мистера Джадкинса. Хаммураби, привалясь к стойке, усердно разглядывал потолок; Мидди смотрела брату через плечо, и взгляд ее ничего не выражал, но, когда Ноготок стал вскрывать конверт, она охнула.

Ноготок извлек из конверта розовую бумажку и, держа ее осторожно, словно что-то очень хрупкое, еле слышно пробормотал какую-то цифру. Вдруг он побелел, в глазах у него блеснули слезы.

— Эй, малец, да говори, что ли! — заорал кто-то.

Тут к Ноготку подскочил Хаммураби и взял, нет, выхватил у него из рук бумажку. Прочистив горло, он начал было читать, как вдруг лицо его исказилось самым комичным образом.

— Ох, мать божия... — только и выдохнул он.

— Громче! Громче! — потребовали хором сердитые голоса.

— Жулье! — выкрикнул Джадкинс, успевший к этому времени основательно накачаться. — Гнусное мошенничество! Это ж слепому видно!

Поднялась буря — от улюлюканья и свиста колыхался воздух.

Брат Ноготка порывисто обернулся, погрозил толпе кулаком.

— А ну, заткнитесь, заткнитесь, вы, дурачье, слышали? Не то вот сшибу вас сейчас черепушками, так набьете себе шишек с дыню каждая.

— Граждане! — выкрикнул мэр Моуэс. — Граждане, ведь нынче, того, рождество на дворе... Вы, значит, того...

Тут мистер Маршалл вскочил на стул. Он топал ногами и хлопал в ладоши, пока не установился относительный порядок. Здесь стоит, пожалуй, упомянуть, что, как мы впоследствии выяснили, Руфус Макферсон специально нанял Джадкинса, чтобы тот затеял всю эту катавасию.

Когда страсти наконец улеглись, розовый листок нежданно-негаданно очутился у меня в руках — как, я и сам не знаю.

Я с ходу выкрикнул:



— Семьдесят семь долларов тридцать пять центов!

От волнения я поначалу, конечно, не сообразил, что это та самая цифра, которую назвал Ноготок. Это дошло до меня, только когда я услышал ликующий вопль его брата. Имя победителя мигом облетело всю аптеку, и благоговейный шепот пронесся над толпою, словно первый вздох бури.

А на самого Ноготка жалко было смотреть. Он захлебывался от рыданий, будто ему нанесли смертельный удар, но когда Хаммураби посадил его себе на плечи, чтобы показать толпе, он торопливо вытер глаза рукавом и расплылся в улыбке.

— Надувательство! Подлое надувательство! — вновь рявкнул Джадкинс, но рев его потонул в оглушительном грохоте рукоплесканий.

Мидди схватила меня за руку.

— Зубы! — взвизгнула она. — Теперь у меня будут зубы!

— Зубы? — переспросил я ошалело.

— Ну да, вставные зубы, вот на что мы истратим эти деньги. Теперь у меня будут красивые белые зубы.

Но в ту минуту меня интересовало только одно — каким образом Ноготок угадал?

— Эй, Мидди, скажи мне, — взмолился я, — скажи ты мне, бога ради, откуда он знал, что там ровно семьдесят семь долларов тридцать пять центов?

Мидди бросила на меня недоумевающий взгляд.

— А я думала, Ноготок говорил тебе, — ответила она совершенно серьезно. — Он сосчитал.

— Да, но как? Как?

— О, господи, да ты что, не знаешь, как считают, что ли?

— Он только считал, и все?

— Н-ну, еще он помолился немножко, — сказала она после некоторого раздумья и стала проталкиваться к братьям, но вдруг обернулась и крикнула мне: — И потом, ведь он родился в сорочке!

И более вразумительного объяснения этой загадки я так ни от кого и не слышал. Когда Ноготка впоследствии спрашивали: «Как это ты?» — он только странно улыбался и переводил разговор на другое. Потом, через много лет, он вместе с семьей переехал куда-то во Флориду, и больше мы о них не слыхали.

Но легенда о Ноготке жива в нашем городе и по-

ныне. А мистера Маршалла до самой его смерти, следовавшей в апреле прошлого года, неизменно приглашали на рождество в баптистскую церковь — рассказывать эту историю ученикам воскресной школы. Как-то раз Хаммураби отстукал об этом рассказ и разослал его во многие журналы. Но он так и не был напечатан. Ему ответил только один редактор, да и тот написал: «Если бы эта девчушка и вправду стала кинозвездой, тогда в Вашей истории был бы какой-то смысл».

Но на самом-то деле этого не случилось, так зачем же выдумывать?



## ДЕТИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вчера вечером шестичасовой автобус переехал мисс Боббит. Сам не знаю, как мне рассказывать об этом: ведь что там ни говори, мисс Боббит было всего десять лет, и все же я уверен — в нашем городе ее никто не забудет. Начать с того, что она всегда поступала необычно, с той самой минуты, когда мы впервые ее увидели, а было это около года тому назад. Мисс Боббит и ее мать, они приехали этим же самым шестичасовым автобусом — он прибывает из Мобила и идет дальше. В тот день было рождение моего двоюродного брата Билли Боба, так что почти все ребята из нашего городка собрались у нас. Мы как раз угощались на веранде пломбиром «тутти-фруtti» и обливным шоколадным тортом, когда из-за Гиблого поворота с грохотом вылетел автобус. В то лето не выпало ни одного дождя; все было присыпано ржавой сушью, и, когда по дороге проходила машина, пыль иной раз висела в недвижимом воздухе по часу, а то и больше. Тетя Эл говорила — если в ближайшее время дорогу не замостят, она переедет на

побережье; впрочем, она говорила это уже давным-давно.

В общем, сидели мы на веранде, и «тутти-фрутти» таяло у нас на тарелочках, и только нам всем подумалось — а хорошо бы, сейчас произошло что-нибудь необычайное, — как оно и произошло: из красной дорожной пыли возникла мисс Боббит — тоненькая девочка в нарядном подкрахмаленном платье лимонного цвета; она важно выступала с таким взрослым видом: одну руку уперла в бок, на другой висел большой зонт, какие носят старые девы. За нею плелась ее мать — растрепанная, изможденная женщина, с голодной улыбкой и тихим взглядом, тащившая два картонных чемодана и заводную виктролу.

Все ребята на веранде до того обомлели, что, даже когда на нас с жужжанием налетел острый рой, девочки забыли поднять свой обычный визг. Все их внимание было поглощено мисс Боббит и ее матерью — они как раз подошли к калитке.

— Прощу прощения, — обратилась к нам мисс Боббит (голос у нее был шелковистый, как красивая лента, и в то же время совсем еще детский, а дикция безупречная, словно у кинозвезды или учительницы), — но нельзя ли нам побеседовать с кем-нибудь из взрослых представителей семьи?

Относилось это, конечно, к тете Эл и до некоторой степени ко мне. Но Билли Боб и остальные мальчишки, хотя всем им было не больше тринадцати, потянулись к калитке вслед за нами. Поглядеть на них, так они в жизни девочки не видели. Такой, как мисс Боббит, — определенно. Как говорила потом тетя Эл — где это слыхано, чтобы ребенок мазался? Губы у нее были ярко-оранжевые, волосы, напоминавшие театральный парик, все в локонах, подрисованные глаза придавали ей бывалый вид. И все же была в ней какая-то сухощавая величавость, в ней чувствовалась леди, и, что самое главное, она по-мужски прямо смотрела людям в глаза.

— Я мисс Лили Джейн Боббит, мисс Боббит из Мемфиса, штат Теннесси, — торжественно изрекла она.

Мальчишки уставились себе под ноги, а девочки на веранде во главе с Корой Маккол, за которой в то время бегал Билли Боб, разразились пронзительным, как звуки фанфар, смехом.

— Деревенские ребятишки, — проговорила мисс Боб-

бит с понимающей улыбкой и решительно крутанула зонтиком.— Мы с матерью,— тут стоявшая позади нее простоватая женщина отрывисто кивнула, словно подтверждая, что речь идет именно о ней,— мы с матерью сняли здесь комнаты. Не будете ли вы так любезны указать нам этот дом? Его хозяйка — некая миссис Сойер.

Ну конечно, сказала тетя Эл, вон он, дом миссис Сойер, прямо через дорогу. Это единственный пансион у нас в городе, старый, высокий, мрачный дом, и вся крыша утыкана громоотводами,— миссис Сойер до смерти боится грозы.

Зарумянившись, словно яблоко, Билли Боб вдруг сказал — простите, мэм, сегодня такая жарница и вообще, так не угодно ли отдохнуть и попробовать «тутти-фрутти»; и тетя Эл тоже сказала — да, да, милости просим, но мисс Боббит только качнула головой.

— От «тутти-фрутти» очень полнеют, но все равно мерси вам от души.

И они стали переходить улицу, и мамаша Боббит поволокла чемоданы по дорожной пыли. Вдруг мисс Боббит повернула обратно; лицо у нее было озабоченное, золотистые, как подсолнух, глаза потемнели, она чуть скосила их, словно припоминая стих.

— У моей матери расстройство речи, так что я вынуждена говорить за нее,— торопливо сказала она и тяжело вздохнула.— Моя мать — превосходная портниха; она шила дамам из лучшего общества во многих городах, больших и маленьких, включая Мемфис и Таллахасси. Вы, разумеется, обратили внимание на мое платье и пришли от него в восторг. Это работа моей матери, каждый стежок сделан вручную. Моя мать может скопировать любой фасон, а совсем недавно она получила приз от журнала «Спутник хозяйки дома» — двадцать пять долларов. Моя мать знает также любую вязку — крючком и на спицах — и делает всевозможные вышивки. Если вам понадобится что-нибудь сшить, обращайтесь, пожалуйста, к моей матери. Пожалуйста, порекомендуйте ее своим друзьям и родственникам. Спасибо.

И она удалилась, шурша накрахмаленным платьем.

Кора Маккол и остальные девчонки, озадаченные, настороженные, нервно дергали ленты у себя в волосах; они что-то скисли, лица у всех вытянулись. Я мисс Боббит, передразнила Кора и соорудила злобную гри-

масу, а я принцесса Елизавета, вот я кто, ха-ха-ха! А платье-то, сказала Кора, самое что ни на есть муровое. И вообще, я лично выписываю все свои платья из Атланты, а еще есть у меня пара туфель из Нью-Йорка, я уж не говорю о том, что серебряное кольцо с бирюзой мне прислали из Мехико-сити, из самой Мексики.

Тетя Эл сказала — зря они так обошлись с приезжей, ведь она такая же девочка, как они, да к тому же нездешняя; но девчонки бесновались, как фурии, а кое-кто из мальчишек — те, что поглупей и любят водиться с девчонками, — взяли их сторону и понесли такое, что тетя Эл залилась краской и сказала — она сейчас же отправит их по домам и все-все расскажет ихним папашам, чтобы взрели их хорошенько. Но исполнить свою угрозу тетя Эл не успела, и причиной тому была мисс Боббит собственной персоной — она появилась на веранде сойеровского дома в новом и совсем уже странном одеянии.

Ребята постарше, как, скажем, Билли Боб и Причер Стар, которые упорно отмалчивались, покуда девчонки язвили по адресу мисс Боббит, и только мечтательно поглядывали затуманенными глазами на дом, где она скрылась, разом повскакали и пошли к садовой калитке. Кора Маккол фыркнула и презрительно выпятила губу, но мы, остальные, тоже поднялись с мест и расселись на ступеньках веранды. Мисс Боббит не обращала на нас ни малейшего внимания. В сойеровском саду темно от тутовых деревьев, он весь зарос шиповником и бурьяном. Иной раз после дождя шиповник пахнет так сильно, что даже у нас в доме слышно. Посреди двора стоят солнечные часы — миссис Сойер воздвигла их еще в тысяча девятьсот двенадцатом году над могилкой бостонского бульдога по кличке Солнышко, который издох, умудрившись вылакать ведро краски. Мисс Боббит величественной походкой спустилась с веранды, держа в руках виктролу, поставила ее на солнечные часы, завела и пустила пластинку — вальс из «Графа Люксембурга». Уже почти стемнело; наступил час летающих светлячков, когда воздух становится голубоватым, как матовое стекло, и птицы, поспешно слетаясь в стайки, рассеиваются затем в складках листвы. Перед грозой цветы и листья словно бы излучают свой собственный свет, их окраска становится ярче; так и мисс Боббит в пышной, -похожей на пуховку белой юбочке и со сверкающей по-

вязкой из золотой канители в волосах, казалось, вся светится в сгущающихся сумерках. Выгнув над головою руки с поникшими, словно головки лилий, кистями, она встала на пуанты и простояла так довольно долго; и тетя Эл сказала — вот молодчина какая. Потом она принялась кружиться под музыку, кружилась, кружилась, кружилась; тетя Эл даже сказала, — ой, у меня уже все перед глазами плывет. Останавливалась она лишь для того, чтобы завести виолончель. Уже и луна скатилась за гребень горки, и отзвонили колокольчики, сзывавшие семьи к ужину, и все ребята разошлись по домам, и стал раскрывать свои лепестки ночной ирис, а мисс Боббит все еще была там, в темноте, и кружилась без устали, словно волчок.

Потом она несколько дней не показывалась. Зато теперь к нам зачастил Причер Стар, он являлся с утра и торчал до самого ужина. Причер — худущий, как жердь, парнишка с огромной копной ярко-рыжих волос; у него одиннадцать братьев и сестер, но даже они его боятся, — нрав у него бешеный, и он знаменит на всю округу своими дикими, злобными выходками: четвертого июля он так отдубасил Олли Овертона, что того пришлось отвезти в больницу в Пенсаколу, а в другой раз он откусил у мула пол-уха, пожевал-пожевал и выплюнул. Пока Билли Боб не вымахал такой здоровенный, Причер и над ним измывался черт знает как: то набьет ему рывков за шиворот, то вотрет перцу в глаза, то изорвет тетрадку с домашним заданием. Зато сейчас они самые закадычные дружки во всем городе; и повадки у них одинаковые и разговоры; иногда они оба пропадают по целым дням — одному богу известно где. Но в те дни, когда мисс Боббит не показывалась, они все время вертелись около дома — то стреляли из рогатки по воробьям, усевшимся на телефонных столбах, то Билли Боб брэнчал на гавайской гитаре и оба они что есть мочи горланили:

Отпиши-ка мне, милашка,  
От тебя я писем жду.  
Отпиши мне поскорее  
В Бирмингемскую тюрьму.

Орали они так громко, что дядюшка Билли Боб (он у нас окружной судья) уверял — их даже в суде было слышно. Но мисс Боббит не слышала их; во всяком случае, она ни разу носа за дверь не высунула. Потом за-

шла к нам как-то миссис Сойер одолжить чашку сахара и много чего наболтала про своих новых постояльцев. А знаете, сыпала она, прижмуривая блестящие, как у курицы, глазки, папаша-то ихний — мошенник, да-да, девчущка мне сама говорила. Стыда у нее ни на грош. Лучше моего папочки, говорит, на свете не сыщешь, а уж поет он слаще всех в Теннесси... Тогда я и спрашиваю — а где же он, किसानька? А она мне как ни в чем не бывало — да он, говорит, в каторжной тюрьме, и у нас от него никаких вестей. Ну что вы на это скажете — просто кровь стынет в жилах, а? И еще я так думаю — ее мама, думаю, не иначе как иностранка какая: никогда слова не скажет, а другой раз сдается мне — ничегошеньки она не понимает, что ей говорят. Да, потом, знаете, — они все едят сырое. Сырые яйца, сырую репу, сырую морковь. А мяса в рот не берут. Девчущка говорит — это для здоровья полезно, а вот и нет! Сама-то она с прошлого вторника пластом лежит, у ней лихорадка.

В тот же день тетя Эл, выйдя полить свои розы, обнаружила, что они все исчезли. Розы эти были особенные, она собиралась везти их в Мобил на выставку цветов и потому, ясное дело, тут же устроила небольшую истерику. Позвонила шерифу и говорит — вот что, шериф, давайте-ка приезжайте сию же минуту. Такое дело — тут кто-то срезал все мои розы «леди Энн», а я с ранней весны хлопотала над ними, все сердце, всю душу в них вкладывала. Когда машина с шерифом остановилась у нашего дома, все соседи вылезли на веранды, а миссис Сойер, с белым от крема лицом, затрусилась к нам через улицу. Тьфу ты пес, пробурчала она, страшно разочарованная тем, что у нас никого не убили, тьфу ты, да никто их не крал, эти розы. Ваш Билли Боб притащил их к нам, розы эти, и велел передать малышке Боббит.

Тетя Эл не сказала ни слова. Она подошла к персиковому дереву, срезала ветку и сделала из нее хороший прут. Ну-у-у, Билли Боб, выкрикивала она, идя по улице, ну-у-у, Билли Боб. Она обнаружила его у Лихача в гараже — они с Причером сидели и смотрели, как Лихач разбирает мотор. Она безо всяких подняла Билли Боба за вихры и потащила домой, что есть силы нахлестывая прутом. Но так и не заставила его просить прощения и не выжала из него ни слезинки. Когда тетя Эл



наконец выпустила его, он убежал на задний двор, забрался на самую верхушку высоченного pekanового дерева и поклялся, что оттуда не слезет. Потом к окну подошел его отец и стал громко его уговаривать: сынок, мы на тебя больше не сердимся, слезай, ужинать пора. Но Билли Боб — ни в какую. Вышла тетя Эл, она припала к дереву, и голос у нее стал мягкий, как чуть затеплившийся день. Ну не сердись, сынок, говорила она, я ж не хотела так сильно тебя отхлестать. А ужин-то, сынок, я приготовила какой вкусный — картофельный салат, вареный окорок, фаршированные яйца. Но Билли Боб твердил — уходи, не надо мне твоего ужина, ненавижу тебя, не-на-ви-жу! Тогда его отец говорит — нельзя так с матерью разговаривать, и тетя Эл заплакала. Она стояла под деревом, и плакала, и утирала глаза подолом. Да я ж не со зла, сынок... Да когда б я тебя не любила, разве стала бы я тебя драть... Листья пекана зашелестели, Билли Боб медленно сполз с дерева, и тетя Эл, взъерошив ему волосы, притянула его к себе. Ох, мам, приговаривал он, ох, мам...

После ужина Билли Боб пришел ко мне в комнату и улегся у меня в ногах на кровати. От него пахло чем-то кислым и сладковатым, мальчишки всегда так пахнут, и мне стало ужасно жаль его, он был такой удрученный, даже глаза прикрыл. Но так ведь положено — когда люди болеют, посылать им цветы, сказал он вполне резонно. Тут мы услышали викролу, отдаленный ритмичный звук, в окошко влетела ночная бабочка и закачалась в воздухе, нежная, слабая, как эта музыка. Уже стемнело, и мы не могли разглядеть, танцует ли мисс Боббит. Билли Боб, словно от боли, сложился вдвое, как складной нож, но лицо его вдруг просветлело, диковатые мальчишеские глаза замерцали, как свечи. До чего же она мировая, зашептал он, никогда таких мировецких девчонок не видел. А, на фиг все, плевать мне, да я бы в Китае и то все розы пообрывал.

Причер тоже готов был пообрывать все розы в Китае. Он совсем ошалел от нее, как и Билли Боб. Но мисс Боббит не замечала их. Ее дальнейшее общение с нами ограничилось запиской к тете Эл — она благодарила за розы. День за днем просиживала она на веранде, разодетая в пух и прах, — вышивала, расчесывала локоны или читала словарь Вебстера; держалась со всеми сдержанно, но вполне дружелюбно: поздороваешься, и она

поздоровается в ответ. И все же мальчишки никак не могли набраться духу подойти к ней и завести разговор; обычно она их попросту не замечала, даже когда они носились по улице и вытворяли черт знает что, лишь бы привлечь ее внимание: боролись, играли в Тарзана, выделывали идиотские трюки на велосипедах. Невеселое это было дело. Многие девчонки по два, по три раза за час проходили мимо сойеровского дома, чтоб хоть одним глазком взглянуть на мисс Боббит. Среди них были Кора Маккол, Мэри Мэрфи-Джонс, Дженис Аккермэн. Но мисс Боббит и к ним не проявляла ни малейшего интереса. Кора перестала разговаривать с Билли Бобом, а Дженис — с Причером. Дженис даже прислала Причеру письмо — оно было написано красными чернилами на бумаге с узорным обрезом, и в нем говорилось, что подлее его нет в целом свете, и у нее просто нет слов, и она разрывает их помолвку, и он может забрать обратно чучело белки, которое он ей подарил. Причер, желая все сделать по-хорошему, — так он потом объяснял, — остановил Дженис, когда она в следующий раз проходила мимо нашего дома, и говорит — ладно уж, елки-палки, если она так хочет, то может оставить эту самую белку себе, — и совершенно не мог понять, с чего это Дженис вдруг разревелась и убежала.

Однажды мальчишки разошлись пуще обычного. Билли Боб напялил отцовскую форму, оставшуюся после войны, а Причер разгуливал без рубашки, и на груди у него старой губной помадой тети Эл была намазана голая красotka. Выглядели они оба совершеннейшими кретинами, но мисс Боббит, полужележавшая на скамейке-качелях, при виде их только зевнула. Был полдень, на улице ни души, кроме цветной девчушки, подетски пухленькой и смахивающей на круглый леденец. Она брела с ведерком ежевики в руке, что-то мурлыкая себе под нос. Мальчишки тут же прилипли к ней, словно рой мошкар; взявшись за руки, они не давали ей пройти — пускай заплатит пошлину. Да ни про какую я пошлину знать не знаю, твердила девчушка, какую такую вам пошлину, мистер? Прогулочку в амбар, прошипел Билли Боб сквозь зубы, веселенькую прогулочку в амбар. Девчушка надулась и, передернув плечами, сказала — да ну еще, какие такие амбары. В ответ Билли Боб опрокинул ее ведерко. С отчаянным поросычьим визгом она бросилась собирать рассыпанную ягоду,

тщетно пытаюсь ее спасти, и тут Причер Стар — а он иногда бывает гнусней самого сатаны — как наподдаст ей, и она плюхнулась, словно желе, прямо в пыль, на ежевику. А с другой стороны улицы уже мчалась мисс Боббит, и ее указательный палец раскачивался, как метроном. Она хлопнула в ладоши, точь-в-точь как заправская учительница, топнула, сердито сказала:

— Хорошо известно, что джентльмены для того и созданы на этой земле, чтобы служить защитой для дам. Неужели вы думаете, что в таких городах, как Мемфис, Нью-Йорк, Лондон, Голливуд и Париж, мальчики держат себя подобным образом?

Мальчишки попятились, спрятали руки в карманы. Мисс Боббит помогла цветной девчужке подняться, отряхнула с нее пыль, вытерла ей глаза и, протянув свой носовой платок, велела ей высморкаться.

— Хорошее дело, — сказала она, — красивое положение, чтобы дама среди бела дня не могла спокойно пройти по улице.

Затем обе они направились к дому миссис Сойер и сели на веранде, и потом целый год они были неразлучны, мисс Боббит и этот слоненок в юбке по имени Розальба Кэт. Сперва миссис Сойер подняла бучу — почему цветная девчонка целыми днями околачивается у нее в доме. Ну куда это годится, жаловалась она тете Эл, чтоб черномазая этак вот, у всех на виду, сидела, нахально развалясь, у нее на веранде; но, по-видимому, мисс Боббит обладала какими-то чарами; уж если она за что бралась, то делала все основательно и притом всегда действовала напрямик и с такою торжественной серьезностью, что людям ничего другого не оставалось, как подчиниться. Вот вам к примеру: сперва все торговцы у нас в городке пофыркивали, называя ее «мисс Боббит», но мало-помалу она стала для них просто мисс Боббит, и, когда она проносилась мимо, решительно крутя зонтиком, они отвешивали ей церемонные полупоклоны. Мисс Боббит твердила всем и каждому, что Розальба — ее сестра, и сперва это вызывало немало шуточек, но постепенно к этому привыкли, как и ко всем ее выдумкам, и никто из нас больше не улыбался, слыша, как они окликают друг друга: «Сестрица Розальба!», «Сестрица Боббит!»

А между тем сестрица Розальба и сестрица Боббит проделывали довольно странные вещи. Взять хоть эту

историю с собаками. Дело в том, что у нас в городе множество бездомных собак — тут и терьеры, и легавые, и овчарки. В полуденные часы они небольшими стайками сонно трусят по горячим улицам и лишь дожидаются, покуда стемнеет и взойдет луна, чтобы громко завывать; и всю ночь напролет слышится этот тоскливый вой: кто-то умирает, кто-то уже мертв. Так вот, мисс Боббит обратилась к шерифу с жалобой: стая собак облюбовала себе место у нее под окошком, а у нее очень чуткий сон, это во-первых, но что самое главное — вот и сестрица Розальба тоже так считает, — это совсем не собаки, а нечистая сила. Шериф, разумеется, палец о палец не ударил, и тогда мисс Боббит взяла это дело в свои руки. В одно прекрасное утро, после особенно неспокойной ночи, мы видим: мисс Боббит шествует по улице, рядом — Розальба с цветочной корзинкой, доверху набитой камнями. Завидев собаку, они останавливаются, и мисс Боббит внимательно ее разглядывает; иной раз мотнет головой, но куда чаще кивает: да, сестрица Розальба, это одна из них! — после чего сестрица Розальба достает из корзинки камень, свирепо применяется — и трах собаку между глаз.

А вот еще случай с мистером Гендерсоном, занимающим заднюю комнатушку в пансионе миссис Сойер. Этот самый мистер Гендерсон — крошечный старичишка весьма крутого нрава; когда-то он рыл поисковые скважины в Оклахоме, а сейчас ему лет под семьдесят, и, как многие старики, он буквально помешан на отправлениях своего организма. Вдобавок он горький пьяница. Однажды он пил запоем целых две недели, и только услышит, бывало, что мисс Боббит и сестрица Розальба прохаживаются по двору, как сразу взбегает по лестнице на самый верх и оттуда орет хозяйке, что в стенах завелись карлицы и хотят известить всю его туалетную бумагу. Вот уже на пятнадцать центов укралаи.

Как-то вечером, когда девочки сидели во дворе под тутовым деревом, мистер Гендерсон выскочил из дому в одной ночной рубашке и стал за ними гоняться. Ах так, орет, задумали у меня всю туалетную бумагу разворовать? Ну я вам покажу, карлицы окаянные! Эй, кто-нибудь, помогите, не то эти сучонки всю бумагу в городе разворуют, до последнего листочка!

Билли Бобу и Причеру удалось схватить Гендерсона, и они крепко держали его, покуда не подоспели взрос-

лые и не стали его вязать. Тогда мисс Боббит, которая держалась с изумительным хладнокровием, объявила мужчинам, что никто из них толком узла завязать не умеет, взялась за дело сама и сделала его на славу — у Гендерсона онемели руки и ноги, он потом целый месяц шага сделать не мог.

Вскоре после этой истории мисс Боббит нанесла нам визит. Явилась она в воскресенье. Я был в доме один, вся семья ушла в церковь.

— В церкви такой невыносимый запах,— сказала она и, слегка подавшись вперед, чинно сложила руки на коленях.— Впрочем, мне не хотелось бы, мистер К., чтобы вы сочли меня язычницей. У меня достаточно опыта, и я знаю — бог есть, и дьявол есть тоже. Но дьявола не приручишь, если ходить в церковь и слушать про то, какой он дурак и мерзкий грешник. Нет, возлюбите дьявола, как вы возлюбили Иисуса. Потому что он могущественная личность и, если узнает, что вы ему доверились, окажет вам услугу. Мне, например, он нередко оказывает услуги — вот как в балетной школе в Мемфисе... Я все время взывала к дьяволу, чтобы он помог мне получить самую главную роль в ежегодном спектакле. И это благоразумно: видите ли, я понимаю, что Иисуса танцы ни капельки не интересуют. Да в сущности, я взывала к дьяволу совсем недавно — только он может помочь мне выбраться из этого городишка. Я ведь не здесь живу, если говорить точно. Мыслями я все время в каком-то другом, совсем другом месте, где все так красиво и все танцуют, знаете, как люди танцуют на улицах, и все такие славные, как дети в свой день рождения. Мой бесценный папочка говорил, что я витаю в облаках, но если б он сам почаще витал в облаках, он бы разбогател, как ему того хотелось. В том-то и беда с моим папочкой — вместо того чтобы самому возлюбить дьявола, он дал дьяволу возлюбить себя. А я на этот счет большой молодец; я знаю: выход, который кажется нам не самым лучшим, а чуть похуже, очень часто как раз и есть самый лучший. Переезд в этот городишко — для нас не самый лучший выход, но раз уж я не могу продолжать здесь свою карьеру танцовщицы, значит, мне надо делать какой-нибудь маленький побочный бизнес. Именно этим я и занялась. Я единственный в округе агент по подписке на «Популярную механику», «Детектив на пятак», «Детскую жизнь» и другие

журналы — весьма внушительный список. Право же, мистер К., я сюда не за тем явилась, чтобы что-нибудь вам навязать. Но есть у меня на уме одна мысль. Я так подумала: эти два мальчика, которые вечно здесь толкуются... Меня осенило — ведь они как-никак мужчины! Как вы полагаете, смогут они быть хорошими помощниками в моем деле?.

Билли Боб и Причер трудились для мисс Боббит не за страх, а за совесть. И для сестрицы Розальбы тоже: она открыла торговлю каким-то косметическим снадобьем под названием «Росинка», и в их обязанности входило доставлять покупки ее клиенткам. К вечеру Билли Боб до того изматывался, что едва мог проглотить свой ужин. Тетя Эл говорила — это же ужас, на него смотреть жалко; и вот как-то раз, когда с Билли Бобом случился солнечный удар и он еле добрал до дома, она объявила — ну, теперь все, придется ему расстаться с мисс Боббит. Но Билли Боб стал ругаться на чем свет стоит, и отцу пришлось запереть его; тогда он сказал, что покончит жизнь самоубийством. Наша бывшая кухарка говорила ему, что если наестся капусты, хорошенько сдобренной черной патокой, то угодишь на тот свет — это как пить дать. Так он и сделал. Я умираю! — вопил он, катаясь по кровати. Я умираю, а всем наплевать!

Пришла мисс Боббит и велела ему умолкнуть.

— Ничего страшного у тебя нет, мальчик. Боль в животе, только и всего, — сказала она.

Потом все с него сорвала и с головы до ног крепко растерла спиртом. Тетя Эл, ужасно шокированная, сказала ей, что девочке это как-то не пристало, на что мисс Боббит ответила:

— Не знаю, пристало или не пристало, но, безусловно, очень освежает.

После чего тетя Эл сделала все, что было в ее силах, чтобы Билли Боб перестал работать на мисс Боббит, но его отец сказал — надо оставить мальчика в покое, пусть живет своей жизнью.

Мисс Боббит была весьма щепетильна в отношении денег. Комиссионные Билли Бобу и Причеру она выплачивала с величайшей точностью и никогда не позволяла им платить за нее в аптеке-закусочной и в кино, хоть они и порывались.

— Лучше поберегите деньги, — говорила она. — То

есть если вы собираетесь поступать в колледж. Потому что у вас у обоих мозгов не хватит, чтоб получить стипендию, — хотя бы ту, что дают футболистам.

Но именно из-за денег у Билли Боба с Причером вышла жуткая ссора. Суть, конечно, была не в деньгах: суть была в том, что они бешено ревновали друг к другу мисс Боббит. Словом, в один прекрасный день Причер ей заявил — и у него еще хватило наглости сделать это прямо в присутствии Билли Боба, — пусть она ведет свою бухгалтерию повнимательней, а то у него есть подозрение, что Билли Боб отдает ей не все деньги, которые собирает, и это не просто подозрение. Подлая ложь! — воскликнул Билли Боб. Чистым левым хуком он сбросил Причера с сойеровской веранды и прыгнул вслед за ним на грядку с настурцией. Но когда Причер его обхватил, Билли Бобу было уже не сладить с ним. Причер даже песок ему втер в глаза.

Во время всей этой катавасии миссис Соьер, свесившись из окна верхнего этажа, издавала пронзительный орлиный клекот, а сестрица Розальба в полном упоении выкрикивала: убей его! убей! убей! Кого она имела в виду — непонятно. Одна только мисс Боббит, по-видимому, точно знала, что ей делать: она открыла шланг для поливки и, подбежав к мальчишкам вплотную, хорошенько их окатила. Причер с трудом поднялся на ноги, громко пыхтя. Ох, радость моя, сказал он, отряхиваясь, словно мокрый пес, радость моя, ты должна сделать выбор.

— Какой выбор? — сердито оборвала его мисс Боббит.

Ох, радость моя, просипел Причер, не хочешь же ты, чтобы мы с Билли Бобом поубивали друг друга. Вот и реши, который из нас взаправду твой миленок.

— Миленок, скажите пожалуйста! — фыркнула мисс Боббит. — И как я только могла связаться с деревенскими ребятишками? Ну какие из вас выйдут бизнесмены? А теперь слушай, Причер Стар: не нужно мне никакого миленка, но уж если бы я его завела, это был бы не ты. О чем говорить, ты даже не встаешь, когда в комнату входит дама.

Причер сплюнул себе под ноги и вразвалочку подошел к Билли Бобу. Пошли, сказал он, как ни в чем не бывало, пошли, деревяшка она, и больше никто; ей только одного надо — хороших друзей перессорить.

На какой-то момент показалось, что сейчас Билли Боб и Причер удалятся в мирном согласии, но Билли Боб, вдруг спохватившись, подался назад и замотал головой. Долгую минуту глядели они друг на друга, и близость их переходила в другую, уродливую, форму — ведь ненавидеть с такою силой можно только того, кого любишь. Все это было написано у Причера на лице. Но ему ничего другого не оставалось, как уйти. Да, Причер, такой ты был потерянный в тот день, что я впервые почувствовал к тебе настоящую симпатию — такой худущий, гадкий, потерянный бред ты по улице и до того одинокий.

Они так и не помирились, Билли Боб с Причером: и не то чтобы им не хотелось мириться, только вот не было какого-то простого способа возобновить дружбу. Но и покончить с этой дружбой они не могли; один всегда знал, что затевает другой, а когда Причер завел себе нового друга, Билли Боб целыми днями места себе не находил: то за одно возьмется, то за другое, и все валится у него из рук, а то вдруг выкинет какой-нибудь дикий номер, — скажем, нарочно засунет палец в электрический вентилятор. По вечерам Причер иногда останавливался у нашей калитки поболтать с тетей Эл. Он оставался со всеми нами в дружеских отношениях, — я думаю, только для того, чтобы помучить Билли Боба, — и даже преподнес нам на рождество огромную коробку очищенного арахиса. Он и для Билли Боба оставил подарок, — оказалось, что это книжка про Шерлока Холмса, и на первом листе нацарапано: *Если ты неверный друг, для тебя найдется сук*. Сроду не видел такой муры, сказал Билли Боб, господи, вот балда! Но потом, хотя день был холодный, он убежал на задний двор, залез на pekanовое дерево и до самого вечера просидел, скорчившись, в его по-декабрьски синеватых ветвях.

Но вообще-то он ходил счастливый — ведь у него была мисс Боббит, а теперь она стала с ним очень мила. Обе они с сестрицей Розальбой обращались с ним, как с мужчиной, — то есть милостиво разрешали все для них делать. Зато они проигрывали ему в бридж, никогда не уличали его во лжи и не расхолаживали, когда он делился с ними своими заветными мечтами. Счастливая это была пора. Но с началом школьных занятий пошли новые беды. Мисс Боббит отказалась учиться.

— Это смешно, право же, смешно, — заявила она



директору школы мистеру Копленду, когда он зашел, чтобы выяснить, почему она не является на занятия.— Я умею читать и писать, и кое у кого здесь, в городе, были все основания убедиться, что я умею считать деньги. Нет, мистер Копленд, поразмыслите-ка минутку, и вы сами поймете, что ни у вас, ни у меня нет на это ни времени, ни энергии. В конце концов дело только в том, кто из нас первый дрогнет духом — вы или я. Да и потом, чему вы можете меня научить? Вот если б вы что-нибудь понимали в танцах, тогда другое дело, но при данных обстоятельствах, да, мистер Копленд, при данных обстоятельствах, на мой взгляд, нам обоим лучше предать это дело забвению.

Мистер Копленд, со своей стороны, вполне готов был предать дело забвению. Но весь город считал, что мисс Боббит следует хорошенько всыпать. Хорейс Дизли прислал в нашу местную газету статью под заголовком «Трагическая ситуация». Создается поистине трагическая ситуация, писал он, если какая-то девчонка может игнорировать конституцию Соединенных Штатов,— почему-то он выразился именно так. Статья кончалась вопросом: «Можем ли мы допустить, чтобы это сошло ей с рук?»

Но все-таки это сошло ей с рук. И сестрице Розальбе тоже. Впрочем, так как Розальба была цветная, всем было решительно наплевать, учится она или нет. А вот Билли Бобу не удалось так счастливо отделаться. Пришлось-таки ему ходить в школу. Но толку от этого было мало, он мог бы с таким же успехом сидеть дома. В первом же табеле у него красовались три плохие отметки — своего рода рекорд. Но вообще-то он парень смышленный, и я думаю, ему просто было неважно столько часов подряд не видеть мисс Боббит; без нее он всегда был какой-то полусонный. И вечно лез в драку — то придет с фонарем под глазом, то с разбитой губой, то вдруг захромает. Насчет этих драк он никогда не распространялся, но мисс Боббит была достаточно проникательна, чтобы догадаться, в чем тут дело.

— Я знаю, знаю, ты сокровище. И я тебя очень ценю, Билли Боб. Только не надо лезть из-за меня в драку. Конечно, люди болтают про меня всякие гадости. А знаешь почему? Ведь это комплимент своего рода. Потому что в глубине души они считают, что я просто замечательная.

И она была права: ведь если никто вами не восхищается, кому интересно вас ругать?

Но, по сути дела, мы и понятия не имели, какая она замечательная, пока в наших краях не объявился один тип, назвавшийся Мэнни Фоксом. Дело было в конце февраля. Впервые мы узнали о Мэнни Фоксе из зазывных афиш, расклеенных во всех лавках города:

**ПОКАЗЫВАЕТ МЭННИ ФОКС  
ТАНЕЦ ЖИВОТА — ДЕЙСТВУЕТ ЖИВОТВОРНО**

А внизу помельче:

**Сенсационная любительская программа—  
выступают ваши соседи.**

**Первая премия — гарантированная кинопроба  
в Голливуде**

Все это должно было состояться в следующий четверг. Входная плата — один доллар; по местным масштабам — целое состояние, но подобного рода греховные развлечения у нас здесь такая редкость, что все раскошелились, и вообще вокруг этой затеи поднялась страшная кутерьма. Шалопац, работавшие под ковбоев и целыми днями прохлаждавшиеся в аптеке-закусочной, всю неделю изошрялись в похабщине — главным образом, по адресу исполнительницы танца живота, которая оказалась не кем иным, как миссис Мэнни Фокс. Остановились Фоксы за городской чертой, в Чеклвудском туристском кемпинге, но весь день проводили в городе, разъезжая в старом «паккарде», на всех четырех дверцах которого было выведено полное имя Фокса. Своей штаб-квартирой они сделали бильярдную, и под вечер их всегда можно было там застать — они потягивали пиво и перебрасывались шуточками с нашими городскими лоботрясами. Как выяснилось в дальнейшем, сфера деловой активности Мэнни Фокса не ограничивалась театральными представлениями. У него была еще своего рода контора по пайму: исподволь он дал понять, что за вознаграждение в сто пятьдесят долларов может обеспечить любому предприимчивому парню в округе классную работенку на грузовых судах «Юнайтед фрут», курсирующих между Новым Орлеаном и Южной Америкой. Шанс, какой выпадает только раз в жизни, — так он выражался. У нас тут не найдется и двух ребят, кото-

рые могли бы набрать без труда хоть пять долларов, и все же человек десять умудрились наскрести нужную сумму. Ада Уиллингем отдала сыну все, что сумела скопить на мраморного ангела, которого ей хотелось поставить на могиле мужа, а отец Эйси Трампа продал свою привилегию на закупку хлопка.

Да, но что творилось в день представления! В этот день было забыто все — и закладные, и тарелки в кухонной раковине. Можно подумать, будто мы собираемся в оперу, сказала тетя Эл,— все так нарядились, разрумянились, от всех так хорошо пахнет. Давно уже «Одеон» не знал такого наплыва публики... Почти у каждого кто-нибудь из родных участвовал в любительской программе, так что волнений было много. Из всех выступающих мы знали толком одну мисс Боббит. Билли Боб весь извертелся: он снова и снова повторял нам, чтобы мы не хлопали никому, кроме мисс Боббит, но тетя Эл сказала — это было бы очень невежливо, и тут на него опять накатило, а когда его отец купил нам всем по мешочку поджаренных кукурузных зерен, он к своему и не прикоснулся — сказал, что боится засалить руки, и потом, чтобы мы, бога ради, не шумели и не вздумали грызть кукурузу, когда на сцену выйдет мисс Боббит.

То, что она участвует в конкурсе, вообще-то было для нас полнейшим сюрпризом. Правда, этого можно было ожидать, да мы и сами могли бы догадаться по некоторым признакам — хотя бы по тому, что вот уже сколько дней она носу не высовывала за калитку, и по звукам виктролы, игравшей до глубокой ночи, и по тени, кружившейся на шторе, и по таинственному, важному виду, который принимала сестрица Розальба всякий раз, как у нее спрашивались о здоровье сестрицы Боббит. Одним словом, имя ее значилось в программе, но, хотя оно стояло вторым, не появлялась она очень долго. Сперва вышел Мэнни Фокс, сверкая напомаженной головой и шныряя глазами; он долго рассказывал анекдоты для курящих, похлопывая в ладоши и гогоча. Тетя Эл объявила,— если он расскажет еще один такой анекдот, она тут же уходит. Рассказать-то он рассказал, но уйти она не ушла. До мисс Боббит выступило одиннадцать человек, среди них — Юстасия Бернстайн, изображавшая кинозвезд (так, что все они смахивали на Юстасию), и совершенно бесподобный старикан, некий мистер

Бастер Райли, лопухий деревенщина, сыгравший на пиле «Вальс Матильды». Пока что номер его оставался гвоздем программы, хотя, в общем-то, публика оказывала участникам конкурса довольно ровный прием: все хлопали щедро; все — это значит все, кроме Причера Стара. Он сидел на два ряда впереди нас и каждое выступление встречал возмущенным ослиным ревом. Тетя Эл сказала: с этого дня она с ним больше не разговаривает. Аплодировал он только мисс Боббит.

Несомненно, на сей раз дьявол действовал с ней заодно, и она того заслуживала. Вихрем вылетела она на сцену, потряхивая локонами, вращая глазами, покачивая бедрами. Мы сразу поняли, что это будет номер не из ее классического репертуара. Она прошлась в чечетке через сцену, изысканным жестом приподнимая на бедрах пышную, словно облако, голубую юбочку. Вот это лихо, сроду такого не видел, сказал Билли Боб и хлопнул себя по ляжке, и тете Эл пришлось согласиться, что мисс Боббит и вправду выглядит просто прелестно. Она закружилась по сцене, и публика разразилась аплодисментами. А она все кружилась, кружилась и только шипела «быстрее, быстрее!» аккомпанировавшей ей на рояле мисс Аделаиде, хотя та, бедняга, и так старалась изо всех сил.

Я родилась в Китае,  
Но Япония — мой дом...

До тех пор мы ни разу не слышали, как она поет; оказалось, что голос у нее резкий, царапающий, как наждак.

...Коль товар мой не по вкусу,  
Лучше вам забыть о нем! Э-эй! Э-эй!

Тетя Эл даже задохнулась. Потом она задохнулась вторично — это когда мисс Боббит, бойко топнув, задрала юбочку и выставила на всеобщее обозрение голубые гипюровые штанишки, в результате чего на ее долю достались почти все одобрительные свистки, приберегавшиеся парнями для исполнительницы танца живота. (Впрочем, как мы убедились в дальнейшем, та тоже не сплеховала — под звуки популярной песенки «Яблочко для учительницы» и возгласы «гип-гип!» дама эта проделала все, что положено, в одном купальнике.)

Но на том, что мисс Боббит продемонстрировала свою попку, триумф ее не кончился. Под руками мисс

Аделаиды зловеще загремели басы, на сцену выскочила сестрица Розальба с зажженной римской свечой и су-пула ее в руки мисс Боббит, делавшей шпагат; он тоже ей удался, и в тот самый момент, когда она села на пол, свеча рассыпалась каскадом красных, синих и белых шаров, и нам всем пришлось встать, потому что мисс Боббит во всю глотку запела «Полосато-звездное знамя». Тетя Эл говорила потом — это было одно из самых пышных зрелищ, какие ей довелось видеть на американской сцене.

Словом, мисс Боббит, бесспорно, заслуживала кино-пробы в Голливуде, а так как она вышла победительницей на конкурсе, похоже было, что дело на мази. Мэнни Фокс так и сказал ей: детка, сказал он, вы из того самого теста, из какого делают кинозвезды. Но на другой день он смылся, наобещав своим подопечным с три короба. Следите за почтой, друзья мои, я всем вам дам знать. Так он сказал ребятам, у которых взял деньги, и так он сказал мисс Боббит. Письма у нас доставляются три раза в день, и каждый раз на почте собиралось порядочно народу — веселая ватага, оживление которой мало-помалу угасало. Как тряслись у мальчишек руки всякий раз, когда в их почтовый ящик падало письмо! Но дни шли, и молчаливый ужас сковывал их все сильнее. Каждому было ясно, что думают другие, но никто не осмеливался произнести это вслух, даже мисс Боббит. Впрочем, почтмейстерша Паттерсон высказалась начистоту: этот тип — мошенник, сказала она, я с первого дня поняла, что он мошенник, и, если мне еще хоть день придется глядеть на ваши физиономии, я застрелюсь.

Наконец, к исходу второй недели заклятие было снято — не кем иным, как мисс Боббит.

Все это время взгляд у нее был совершенно отсутствующий — никто бы и не подумал, что она бывает такая, — но в один прекрасный день, после того как была разобрана вечерняя почта, к мисс Боббит снова вернулась ее кипучая энергия.

— Ну так, мальчики. Теперь вступает в действие закон джунглей, — объявила она и увела всю ватагу к себе домой.

Там состоялось учредительное собрание Клуба вешателей Мэнни Фокса, каковая организация в несколько более цивилизованном виде существует и по сей день, хотя Мэнни Фокса давным-давно удалось изловить и,

выражаясь фигурально, повесить. А в том, что это удалось,— прямая заслуга мисс Боббит. За неделю она настрочила свыше трехсот писем с описанием примет Мэнни Фокса и разослала их всем шерифам Юга; кроме того, она написала в газеты всех более или менее крупных городов, и письма ее привлекли внимание широкой публики. В результате «Юнайтед фрут компани» предложила четверем из жертв Мэнни Фокса хорошо оплачиваемую работу, а поздней весной, когда Фокс был арестован в Апхае, штат Арканзас, где он пытался проделать все тот же старый трюк, организация «Лучезарные девушки Америки» представила мисс Боббит к медали «За доброе дело». Но по какой-то причине мисс Боббит постаралась оповестить всех и вся, что она отнюдь не в восторге.

→ Мне не нравится эта организация,— заявила она.— Трубят в горн что есть мочи. Ничего веселого тут не вижу, и вовсе это неженственно. И вообще — что такое доброе дело? Не давайте себя одурачивать всякое доброе дело делается для того, чтобы что-нибудь получить взамен.

Как отрадно было бы сообщить здесь, что она ошибалась и что другая, желанная награда, когда она наконец получила ее, была вручена ей от чистого сердца, в знак любви. Но на самом деле это было не так. С неделю назад все ребята, которых обжулил Мэнни Фокс, получили от него чеки в возмещение понесенных убытков, и мисс Боббит весьма решительно прошествовала на заседание клуба. (Заседания эти и поныне служат кой для кого предлогом, чтобы по четвергам весь вечер дуться в покер и наливать пивом.) Мисс Боббит сразу взяла быка за рога.

— Вот что, мальчики,— сказала она,— никому из вас и во сне не снилось когда-нибудь снова увидеть эти деньги, но раз уж вы их получили, вам надо вложить их в какое-нибудь реальное дело,— скажем, в меня.

Предложение ее заключалось в следующем: они сложатся и оплатят ее поездку в Голливуд; за это она обязуется пожизненно выплачивать им десять процентов от своих гонораров, и значит, когда она станет звездой — а этого ждать недолго,— все они будут богатыми людьми.

— Во всяком случае, по местным понятиям,— добавила она.

Никому из мальчишек не хотелось расставаться с деньгами, но когда мисс Боббит смотрит тебе в глаза, что тут поделаешь?

...С понедельника сыплет летний дождик, днем веселый, пронизанный солнцем, но по ночам мрачный и полный звуков — стука капель по листьям, перезвона струй, незатихающего тревожного топотка.

Билли Боб — начеку, и глаза у него сухие, но все эти дни он какой-то замороженный, и язык у него не ворочается, будто это язык колокола. Нелегкая для него штука — отъезд мисс Боббит. Потому что она была для него не только безумной мальчишеской любовью, но чем-то гораздо большим. Так чем же? Да все его странности — и то, что он удирал на пекановое дерево, и то, что любил книги, и то, что настолько считался с людьми, что позволял им себя обижать, — все это была она. И то, что он боязливо таил от всех, кроме нее, — это тоже была она. А в темноте струилась сквозь дождь отдаленная музыка. Ведь будут такие ночи, когда мы услышим эту музыку так ясно, словно и впрямь через дорогу играет виолончель. И ранние вечера, когда вдруг смешаются тени и она красиво разворачивающейся лентой пройдет перед нами по лужайке. Она улыбалась Билли Бобу, брала его за руку, даже поцеловала его.

— Я же не собираюсь умирать, — говорила она. — Ты приедешь ко мне, и мы уйдем на высокую гору, и проживем там все вместе: ты, и я, и сестрица Розальба.

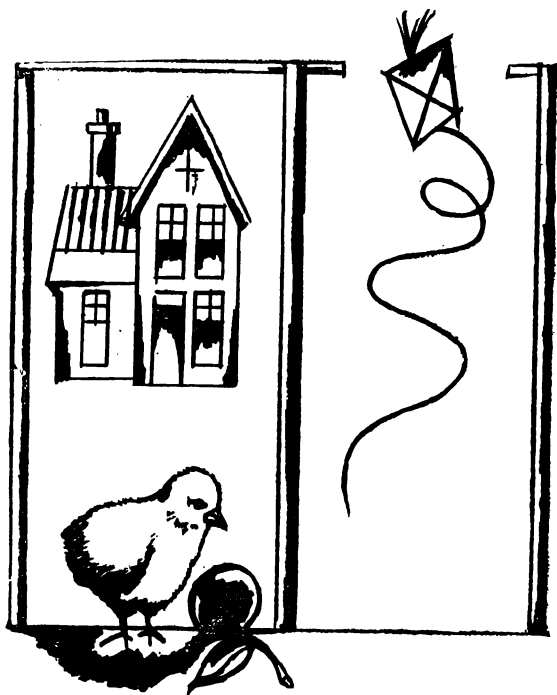
Но Билли Боб знал, этому не бывать, и, когда сквозь тьму доносилась музыка, засовывал голову под подушку.

А вчера день вдруг улыбнулся странной улыбкой, и это как раз был день ее отъезда. Около полудня появилось солнце и принесло с собой ласковый запах глицинии. Снова цвели желтые розы тети Эл, и она поступила замечательно — сказала Билли Бобу, что он может их срезать и подарить мисс Боббит на прощание. До самого вечера мисс Боббит просидела у себя на веранде, и все время вокруг нее толпились люди — они заходили пожелать ей всего хорошего. Казалось, она собралась к причастию — в белом платье, в руках белый зонт. Сестрица Розальба подарила ей носовой платок, но тут же его позаимствовала — она все плакала и никак не могла остановиться. Другая девчушка принесла жареного цыпленка — на дорогу; одно было плохо — она позабыла его выпотрошить. Но мать мисс Боббит сказала — что ж,

это ничего: цыпленок есть цыпленок; слова знаменательные, если учесть, что это было единственное мнение, когда-либо высказанное ею.

Лишь одно омрачало всем настроение: вот уже сколько часов Причер Стар околачивался на углу — то играл в расшибалочку на тротуаре, то прятался за дерево, словно хотел остаться незамеченным. Всех это очень нервировало. Минут за двадцать до прихода автобуса он вразвалку подошел к нашему дому и встал у калитки, прислонившись к ней лбом. Билли Боб все еще срезал розы в саду: он набрал уже столько, что хватило бы на огромный костер, и их запах был плотным, как ветер. Причер смотрел на Билли Боба, пока тот не поднял головы. И покуда они глядели друг на друга, снова стал сеяться дождик, тонкий, как водяная пыль над морем, и расцвеченный радугой. Ни слова не говоря, Причер подошел к Билли Бобу, помог ему разделить розы на два большущих букета, и они вместе вышли за калитку. На той стороне улицы шмелями гудели разговоры, но когда мисс Боббит увидела их, двух мальчиков, чьи лица, скрытые букетами роз, были как желтые луны, она сбежала по ступенькам веранды и бросилась через дорогу, протягивая к ним руки. Мы поняли, что сейчас произойдет, и мы закричали, наш крик, словно молния, прорезал завесу дождя, но мисс Боббит, бежавшая к лунно-желтеющим розам, казалось, не слышала нас. Вот тогда-то шестичасовой автобус и переехал ее.





## ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОДНОМ РОЖДЕСТВЕ

Представьте себе раннее утро в конце ноября. Позимнему холодное утро двадцать с лишним лет тому назад. А теперь вообразите себе кухню в одном из больших старых домов захолустного городка. Самое главное в кухне — черная плита внушительных размеров, по есть здесь еще и большой круглый стол, и камин, и кресла-качалки перед ним. Как раз сегодня камин впервые загудел снова.

У окна кухни стоит женщина с коротко остриженными седыми волосами. На ней теннисные туфли и вытянувшийся серый свитер поверх летнего ситцевого платья. Она маленькая и быстрая, словно бентамская курочка, но после долгой болезни, перенесенной еще в молодости, плечи ее жалостно сгорблены. Лицо у нее приметное. Она смахивает на Линкольна — те же рез-

кие черты, обветренная и загорелая кожа; но вместе с тем есть у нее в лице что-то хрупкое, и овал его куда тоньше, а глаза боязливые, светло-карие.

— Ух ты! — восклицает она, и от дыхания ее затуманивается стекло. — Погода — в самый раз для рождественских пирогов!

Это она обращается ко мне. Мне семь лет, а ей самой уже за шестьдесят. Мы с нею в родстве, но очень дальнем, и живем вместе давным-давно — с тех пор, как я себя помню. В доме живут и другие люди, тоже наши родственники, и хотя они распоряжаются нами и частенько заставляют нас плакать, мы, в общем, не очень-то их замечаем. А с пею мы — задушевные друзья. Она зовет меня Дружок, в память другого мальчика, который когда-то был ее задушевым другом. Тот, первый Дружок, умер еще в восьмидесятих годах, когда она была совсем ребенком. Да она и сейчас ребенок.

— Я это еще в постели почувала, — говорит она, отворачиваясь от окна, и глаза ее решительно поблескивают. — Бой часов на башне суда был такой чистый, холодный. И птиц совсем не слышно: улетели в теплые края. Ну да, ясное дело. Дружок, будет тебе уплетать лепешки. Тащи-ка сюда коляску. Да помоги мне шляпу найти. Ведь нам надо испечь целых тридцать пирогов.

Вот так всегда: в конце ноября в одно прекрасное утро подружка моя словно бы официально провозглашает начало ~~рождественских~~ праздников.

~~И вот~~ воображение ее заработало, горящее в ее ~~сердце~~ пламя вспыхивает еще ярче:

— Погода — в самый раз для рождественских пирогов! Тащи-ка сюда коляску. Да помоги мне шляпу найти.

Наконец шляпа найдена — соломенная, величиной с колесо, с поблекшими от дождя и солнца бархатными розами; когда-то она принадлежала более франтоватой родственнице. Вдвоем мы вывозим коляску в сад и толкаем ее к пекановой рожице. Это моя детская коляска, ее купили, когда я родился. Она плетеная, но прутья расплетаются, а колеса вихляют, как ноги пьяницы. И все-таки она служит нам верой и правдой: весной мы берем ее в лес и доверху заваливаем цветами, целебными травами и папоротником — потом мы высаживаем все это в горшки на задней веранде; летом, погрузив в нее снедь для пикника и бамбуковые удочки, спускаемся к лесному ручью; да и зимой она не стоит без дела — мы

перетаскиваем на ней поленья с заднего двора в кухню, она служит теплой постелью для нашего Королька, выносливого бело-рыжего терьера, перенесшего чумку и два укуса гремучей змеи. Сейчас Корольек рысцой бежит за нами.

Три часа спустя мы снова в кухне — чистим pekanовые орехи. Мы набрали их полную коляску. У нас спины ломит, так прилежно мы их собирали. Владельцы сада (а это, конечно, не мы) отрясли орехи и продали урожай, и нам так трудно было искать последки, укрывшиеся среди листвы или в заиндевелой, местами обманчиво темной траве... Крак! Скорлупа лопается с веселым треском, и в матовой стеклянной посудине растет золотая горка сладких жирных ядрышек. Корольек встает на задние лапы — ему захотелось полакомиться, и подружка моя то и дело украдкой подбрасывает ему орехи. Но при этом она твердит, что мы сами их есть не должны:

— Нельзя, Дружок. Как начнешь есть, не оторвешься. А орехов и так еле-еле хватит. Ведь нам их нужно на целых тридцать пирогов!

В кухне темнеет. Сумрак превращает окошко в зеркало, и сквозь наши отражения уже виднеется восходящая луна. А мы все сидим у камина, освещенные его пламенем, и трудимся. Наконец, когда луна уже совсем высоко, в огонь летит последняя скорлупка; мы дружно и облегченно вздыхаем, глядя, как она загорается. Коляска пуста, посудина наша полна до краев. Мы ужинаем холодными лепешками, свиной, ежевичным вареньем и обсуждаем планы на завтра. Завтра начнется самое для меня интересное — покупки. Мы накупим вишни и лимонов, имбиря и вапиви, гавайских ананасов в банках, изюма и цукатов, грецких орехов и виски. Да еще сколько муки, масла, пряностей, сколько яиц! Ей-богу, чтоб дотащить коляску домой, потребуется пони!

Но прежде чем приступить к покупкам, надо выяснить, как у нас с деньгами. Вообще-то у нас их нет. Только если перепадет мелочишка от кого-нибудь в доме (десять центов, по местным понятиям, — очень большая сумма) или мы сами чем-нибудь подработаем: мы сбываем всякую ветошь, продаем ведерками ежевику, варим на продажу джем, яблочный мармелад, персиковое варенье. А однажды мы получили семьдесят девятый приз на общеамериканском конкурсе знатоков футбола — пять долларов. По правде сказать, в футболе мы не смыс-

лим ровнехонько ничего. Просто участвуем в каждом конкурсе, о котором нам доведется узнать. Сейчас главная наша надежда — Большой приз в пятьдесят тысяч долларов, обещанный победителю конкурса на лучшее название для новой марки кофе. (Мы предложили назвать ее «Нектар» и даже придумали текст для рекламы: «Нектар — господний дар», — правда, были у нас колебания: подружка моя опасалась, нет ли тут кощунства.) Но, честно говоря, единственным нашим выгодным предприятием оказался Музей забав и уродств, который мы два года назад устроили в сарае на заднем дворе. Забавой служил стереоптикон для показа видов Нью-Йорка и Вашингтона — мы одолжили его у одной родственницы, побывавшей в этих местах (узнав, для чего мы его брали, она расвирепела), а образчиком уродства — цыпленок о трех ногах, отпрыск одной из наших куриц. Взглянуть на цыпленка пожелали все соседи. Входная плата была: для взрослых пять центов, для детей — два. Мы собрали, ни много ни мало, двадцать долларов, но потом музей пришлось срочно закрыть — издох главный наш экспонат.

И все же — так или этак — мы умудряемся накопить к рождеству деньги на пироги. Деньги эти хранятся в ветхом бисерном кошельке под полом, под отстающей доской, под тем самым местом под кроватью моей подружки, куда она ставит ночной горшок. Из этого надежного укрытия кошелек извлекается редко, лишь для очередного вклада, да еще по субботам — каждую субботу мне выдается десять центов на кино. Подружка моя никогда в кино не была, и ее туда вовсе не тянет.

— Лучше ты мне потом расскажешь, про что картина, Дружок. Тогда я полней все себе представлю. Да и, знаешь ли, в моем возрасте надо беречь глаза. Когда мне явится господь, я хочу его видеть ясно.

Она не только ни разу не ходила в кино, она никогда не была в ресторане, не отдалялась от дома больше чем на пять миль, не получала и не отправляла телеграмм; никогда не читала ничего, кроме комиксов и Библии, не употребляла косметики, не ругалась, не желала никому зла, не лгала с умыслом, не пропускала голодной собаки, чтобы ее не накормить. А вот кое-какие ее дела: она убила мотыгой самую большую гремучую змею, какую когда-либо видели в нашем округе (шестнадцать

колец на хвосте); она нюхает табак (тайком от домашних); приручает колибри (попробуйте-ка вы! а у нее они качаются на пальце); рассказывает истории о привидениях (оба мы верим в привидения), до того страшные, что от них даже в июле мороз подирает по коже; разговаривает сама с собой; совершает прогулки под дождем; выращивает самую красивую в городе японскую айву; знает рецепты всех древних индейских зелий, в том числе и магического снадобья от бородавок...

После ужина мы уходим в комнатку моей подружки, расположенную в глубине дома. Она спит там под лоскутным одеялом на железной кровати, выкрашенной розовой масляной краской. Розовый цвет — ее любимый. В полном молчании, наслаждаясь своей ролью заговорщиков, мы извлекаем наш кошелек из укрытия и высыпаем его содержимое на одеяло. Вот долларовые бумажки, плотно свернутые и зеленые, словно бутоны в мае. Унылые монеты по полдоллара, такие тяжелые, что ими можно прикрыть глаза мертвеца. Хорошенькие десятицентовые монетки, самые живые из всех — только они одни так задорно звенят. Пятачки и четвертаки, обтершиеся, как голыши в ручье. Но больше всего отвратительных, горько пахнущих медных центов — их целая куча. Прошлым летом мы подрядились убивать мух — другие обитатели дома платили нам по центу за двадцать пять штук. Ну и бойню мы устроили в августе! Мухи возносились прямо на небеса. Но этой работой мы не очень гордились. И сейчас, когда мы пересчитываем грязные центы, нам все кажется, что это дохлые мухи. В счете мы оба слабоваты, дело движется туго, мы сбиваемся, начинаем все снова. По подсчетам моей подружки у нас двенадцать долларов семьдесят три цента, по моим — ровно тринадцать долларов.

— Хорошо бы ты ошибся, Дружок. Это надо ж — тринадцать! Жди беды: либо тесто сядет, либо кто-нибудь из-за нашего пирога угодит на кладбище. Что до меня, так я ни за что на свете тринадцатого с постели не подымусь!

И правда: тринадцатого она всегда целый день проводит в постели. Чтоб уж наверняка избежать опасности, мы берем один цент и швыряем его за окошко.

Из всего, что нам требуется для пирогов, виски — самое дорогое, и его труднее всего раздобыть: в нашем штате — сухой закон. Впрочем, всем известно, что бу-

тылку виски можно купить у мистера Джонса по прозвищу «Ха-ха». И назавтра, покончив с другими, более обыденными покупками, мы отправляемся в заведение мистера Ха-ха («вертеп», говорят о нем все) — бревенчатую харчевню у реки, где танцуют и угощаются жареной рыбой. Мы здесь бывали и раньше — по тому же самому поводу; но в предыдущие годы переговоры с нами вела жена Ха-ха, коричневая, как йод, индианка с вытравленными перекисью волосами и смертельно усталым лицом. Мужа ее мы никогда в глаза не видели. Только слышали, что он тоже индеец. Огромный такой, и через все лицо — шрамы от бритвы. Его прозвали «Ха-ха», потому что он такой мрачный — человек, который никогда не смеется. Харчевня его — большой балаган, увешанный внутри и снаружи гирляндами разноцветных ослепительно-ярких лампочек, — стоит на топком берегу в тени деревьев, по ветвям которых, словно туман, расползается серый мох. Чем ближе мы подходим к харчевне, тем медленнее идем. Даже Королек перестает резвиться и жметя к нашим ногам. Ведь тут, случалось, убивали. Резали на куски. Проламывали черепа. В следующем месяце в суде будет разбираться одно такое дело... Конечно, все это происходит ночью, когда разноцветные лампочки отбрасывают нелепые тени и завывает виетрола. А днем у харчевни обшарпанный и заброшенный вид. Я стучу в дверь, Королек лает, моя подружка кричит:

— Миссис Ха-ха! Мэм! Есть тут кто-нибудь?

Шаги. Дверь распахивается. Сердца наши проваливаются куда-то: да это же мистер Ха-ха Джонс собственной персоной! Он и вправду огромный, на лице у него и вправду шрамы, он и вправду не улыбается. Нет, он посверкивает на нас из-под приспущенных век сатанинскими глазами и грозно спрашивает:

— На что вам Ха-ха?

Мгновение мы стоим молча, парализованные страхом. Потом к подружке моей возвращается голос, и она еле внятно говорит, вернее шепчет:

— С вашего позволения, мистер Ха-ха... Нам нужно кварту вашего лучшего виски.

Глаза его превращаются в щелочки. Поверите ли? Ха-ха улыбается. Даже смеется.

— Кто же из вас двоих пьяница?

— Нам в пироги нужно, мистер Ха-ха. В тесто.

Это словно бы отрезвляет его. Он хмурит брови:

— Не дело это, попусту переводить хороший виски. Но все-таки он исчезает в темной глубине дома и возвращается вскоре с бутылкой без наклейки, в которой плещется желтая, словно лютики, жидкость. Показав нам, как жидкость искрится на свету, он говорит:

— Два доллара.

Мы расплачиваемся с ним мелочью. Он подбрасывает монетки на ладони, словно игральные кости, и лицо его вдруг смягчается.

— Ну вот что,— объявляет он, ссыпав мелочь обратно в наш бисерный кошелек.— Пришлите мне один из этих ваших пирогов, и все.

— Смотри-ка,— замечает на обратном пути моя подруга.— До чего славный человек. Надо будет всыпать в его пирог лишнюю чашку изюма.

Плита, набитая углем и поленьями, светится, словно фонарь из выдолбленной тыквы. Прыгают венички, сбивая яйца, крутятся в мисках ложки, перемешивая масло с сахарным песком, воздух пропитан сладким духом ванили и пряным духом имбиря; этими тающими, щекочущими нос запахами насыщена кухня, они переполняют весь дом и с клубами дыма уносятся через трубу в широкий мир. Проходят четыре дня, и наши труды закончены: полки и подоконник заставлены пирогами, пропитанными виски,— всего у нас тридцать один пирог.

Для кого же?

Для друзей. И не только для тех, что живут по соседству. Напротив, по большей части пироги наши предназначены людям, которых мы видели раз в жизни, а то и совсем не видели. Людям, чем-нибудь поразившим наше воображение. Как, например, президент Рузвельт. Или баптистские миссионеры с Борнео — его преподобие Дж. К. Луси с женой, которые прошлой зимой читали здесь лекции. Или низенький точильщик, два раза в год проезжающий через наш городок. Или Эбнер Пэкер, водитель шестичасового автобуса из Мобила,— каждый день, когда он в облаке пыли пронесется мимо, мы машем ему рукой, и он машет нам в ответ. Или Уистоны, молодая чета из Калифорнии,— однажды их машина сломалась у нашего дома и они провели приятный часок, болтая с нами на веранде. (Мистер Уистон нас тогда щелкнул своим аппаратом — мы ведь ни разу в жизни не свимались.)

Может быть, совсем чужие или малознакомые люди

кажутся нам самыми верными друзьями лишь потому, что подружка моя стесняется всех и не робеет только перед чужими? Думаю, так оно и есть. А кроме того, у нас такое чувство, что хранимые нами в альбоме благодарственные записки на бланках Белого дома, редкие вести из Калифорнии и с Борнео, дешевые поздравительные открытки низенького точильщика приобщают нас к миру, полному важных событий и далекому от нашей кухни, за окном которой стеною стоит небо.

...А сейчас в окошко скребется по-декабрьски голая ветка смоковницы. Кухня уже опустела, все пироги разосланы; вчера мы свезли на почту последние несколько штук. Чтобы купить марок, нам пришлось вывернуть кошелек наизнанку, и теперь у нас ни гроша за душой. Я очень этим подавлен, но подружка моя утверждает, что завершение нашей работы надо отпраздновать, — в бутылке, которую дал нам Ха-ха, осталось еще пальца на два виски. Одну ложку вливаем Корольку в мисочку с кофе — он любит, чтобы кофе был крепкий, с цикорием, — остальное делим между собой. Мы оба ужасно боимся пить неразбавленный виски. После первых глотков мы морщимся, передергиваем плечами — брр! А потом начинаем петь, каждый свое. Из своей песни я знаю всего несколько слов: *«Приходи, приходи в негритянский поселок, собрались все франгихи и франгты на бал»*. Но зато я умею танцевать. Вот кем я буду — чечеточником, стану плясать чечетку в кино. Я отплясываю, тень моя мечется по стенам. От нашего пения трясется посуда на полках. Мы хихикаем, будто нас кто-то щекочет. Королек перекатывается на спину, дрыгает лапами, что-то вроде улыбки растягивает его черную пасть. Во мне все горит и искрится, как трещащие в печке поленья, я беззаботен, словно ветер в трубе. Подружка моя кружится в вальсе вокруг плиты, приподняв подол бедной ситцевой юбки, словно это вечернее платье. *«Покажи мне дорогу к дому...»* — напевает она, и ее теннисные туфли поскрипывают в такт. *«Покажи мне дорогу к дому...»*

Кто-то входит. Две родственницы. Обе взбешены. Они буравят нас глазами, дырявят языком. Они взвинчивают себя, слова их сливаются в сплошную мелодию гнева:

— Семилетний ребенок! И от него разит виски! Ты спятила, что ли? Напоить семилетнего ребенка! Какая-



то полоумная! Верный путь к гибели! Вспомни-ка двоюродную сестру Кэйт! Дядюшку Чарли! Свояка дядюшки Чарли! Позор! Стыд какой! Срам! На колени! Моли господа о прощении!

Королек забивается под плиту. Подружка моя разглядывает свои туфли, подбородок ее дрожит. Потом она поднимает подол юбки, сморкается в него и убегает в свою комнату... Весь город давно заснул, в доме все стихло, слышится только бой часов да потрескивание догорающих угольков в печах, а она все плачет в подушку, мокрую, как носовой платок вдовы.

— Не плачь, — говорю я ей. Я сижу у нее в ногах на постели и дрожу от холода, хотя на мне фланелевая ночная рубашка, пропахшая сиропом от кашля, который мне давали прошлой зимой. — Ну не надо, — я уговариваю ее, щекочу ей пятки, дергаю за пальцы. — Такая старая, и вдруг плачет.

— А все потому... — отвечает она, икая, — ...потому, что я правда совсем старая стала. Старая и смешная.

— Вовсе ты не смешная. Ты веселая. Веселей всех. Послушай, перестань плакать, а то завтра будешь усталая и мы не сможем пойти за елкой.

Она сразу садится. Королек вспрыгивает на кровать, хотя это ему не разрешается, и лижет ей щеки.

— Я знаю, Дружок, где найти красивую елку. И остролист. Ягоды у него огромные, как твои глазницы. Но надо пойти далеко в лес, так далеко мы еще не ходили. Оттуда нам всегда приносил елку папа, он тащил ее на плечах. Пятьдесят лет с тех пор миновало. Ох, я уже не могу дождаться, поскорее бы утро!

Утро. Трава поблескивает от инея. Солнце, круглое, как апельсин, и оранжевое, как луна в душную летнюю ночь, покачивается на горизонте, заливая блеском посеребренные морозом деревья. Где-то вскрикивает цесарка. Из подлеска доносится хрюканье одичавшего борава. Мы оставляем коляску у быстрого и мелкого, по колено, ручья. Королек переправляется первый, он скулит, шлепая лапами по воде — жалуется на быстрое течение, на ледяную воду, от которой можно схватить воспаление легких. Мы бредем за ним следом, каждый держит над головой свою обувь и снаряжение — топорик и холщовый мешок. Еще с милу — сквозь колючки шиповника, вцепляющиеся в нашу одежду, по ржавчине опавшей хвои, расцвеченной кое-где яркими поганками

и птичьими перьями. То тут, то там зашуршит или молнией мелькнет с пронзительно-радостным криком пичужка, напоминая нам, что не все птицы улетели в теплые края.

Тропинка вьется сквозь залитые лимонным солнцем прогалины, сквозь темные туннели в зарослях дикого винограда. Еще ручей: вокруг нас вспенивает воду армада потревоженных пестрых форелей, упражняются в прыжках толстые, величиною с тарелку, лягушки, прилежно трудятся бобры, строя плотину. На том берегу уже отряхивается Королек, он весь дрожит. Подружка моя тоже дрожит, но не от холода, а от азарта. Она закидывает голову, чтобы поглубже вдохнуть густой запах хвои, и с одной из облезлых бархатных роз, украшающих ее шляпу, слетает лепесток.

— Мы почти что у цели. Чувствуешь запах, Дружок? — спрашивает она, словно мы приближаемся к океану.

А это и вправду своего рода океан. Целые акры пахучих елей и остролиста — его ягоды рдеют, словно китайские фонарики; на них с карканьем устремляются черные вороны. Набив мешки зелеными с алым ветками остролиста — их хватит для гирлянд на десяток окон, — мы приступаем к выбору елки.

— Она должна быть в два раза выше ребенка, — рассуждает моя подружка. — Чтобы он не мог стащить с верхушки звезду.

Елка, которая нам приглянулась, как раз вдвое выше меня. Стройная, пригожая, а уж здорова! Лишь на тридцатом ударе наших топориков она валится с надрывающим сердце скрипучим криком. Ухватив ее, словно добычу, мы пускаемся в долгий обратный путь. Через каждые несколько шагов мы выпущены отдыхать — садимся и тяжело дышим. Но радость удачливых охотников придает нам силы. И еще нас подхлестывает бодрящий, льдистый аромат хвои.

На закате мы добираемся по красному глинистому проселку до города. Сокровище наше укреплено на коляске, и многие из встречных хвалят его: до чего славное деревце, говорят они, где вы его раздобыли? Но подружка моя отвечает уклончиво.

— Да так, в одном месте, — еле слышно бормочет она. Рядом с нами останавливается машина, из окна высовывается ленивая жена богача-мукомола:

— Даю тебе четвертак за эту метлу,— говорит она ноющим тоном.

Обычно подружка моя не любит отказывать, но тут она резко мотает головой:

— Нет, мы ее и за доллар не отдадим.

Жена мукомола не унимается:

— Скажешь тоже, за доллар! Пятьдесят центов, вот моя крайняя цена. Слушай, тетка, ты же можешь себе раздобыть еще одну, совершенно такую же.

— Наверяд ли,— мягко и задумчиво произносит моя подружка.— Все на свете неповторимо.

Дома. Королек шлепается у горящего камина и засыпает до утра. Он храпит громко, как человек.

На чердаке в одном из сундуков хранятся: коробка из-под обуви с горностаевыми хвостиками (они срезаны с меховой накидки одной весьма странной дамы, снимавшей когда-то комнату у нас в доме), растрепанные мотки порыжевшей от времени канители, серебряная звезда, коротенькая гирлянда допотопных, явно небезопасных в пожарном отношении лампочек, смахивающих на разноцветные леденцы. Украшения расчудесные, но их мало. Подружке моей хочется, чтобы елка наша сияла, словно окно из цветных стекол в баптистской церкви, чтобы ветви ее клонились под тяжестью украшений, как от толстого слоя снега. Но роскошные японские игрушки, которые продаются у Вулворта, нам не по карману. Поэтому мы, как обычно под рождество, целыми днями сидим за кухонным столом и мастерим украшения сами с помощью ножниц, цветных карандашей и кипы цветной бумаги. Я рисую, подружка моя вырезает. Больше всего у нас кошек и рыбок (их проще всего рисовать), потом яблоки, арбузы, есть и несколько ангелов с крыльями — мы делаем их из серебряной обертки от шоколадок. С помощью английских булавок мы прикрепляем свои изделия к елке и в довершение всего усыпаем ветки комочками хлопка, собранного для этой цели еще в конце лета. Оглядев елку, подружка моя радостно всплескивает руками:

— Нет, честно, Дружок. Ведь ее так и хочется съесть, верно?

Королек и вправду пытается съесть ангела.

Потом мы плетем из остролиста гирлянды для окон,

обвязываем зелень лентами. Когда с этим покончено, начинаем готовить подарки для всех наших родственников. Дамам — самодельные шарфики, мужчинам — собственного приготовления снадобье из лимонного сока, лакрицы и аспирина («Принимать при первых симптомах простуды и после охоты»). Но пора мастерить подарки друг для друга. Тут мы начинаем работать порознь, втихомолку. Мне бы хотелось купить в подарок моей подружке перламутровый перочинный нож, приемник и целый фунт вишни в шоколаде (мы один раз попробовали эти конфеты, и с тех пор она постоянно твердит: «Знаешь, Дружок, я могла бы ими одними питаться всю жизнь; вот как бог свят, могла бы, а ведь я никогда не поминаю его имени всуе»). Вместо этого я мастерю ей бумажного змея. А ей хотелось бы подарить мне велосипед. (Она мне миллион раз говорила: «Если б я только могла, Дружок... Достаточно скверно, что сама не имеешь того, чего хочешь, но когда и другим не можешь подарить то, что им хочется, от этого уже совсем тошно. И все-таки я как-нибудь изловчусь, раздобуду тебе велосипед. Только не спрашивай как. Может быть, украду».) Но я совершенно уверен, что она мастерит мне змея — так же, как в прошлом году и в позапрошлом; а в позапозапрошлом мы подарили друг другу рогатки. По мне, и то и другое неплохо. Мы с ней чемпионы по запуску змея и разбираемся в ветрах, как заправские моряки. Моя подружка ловчее меня, — она умудряется запускать змея даже в затишье, когда облака стоят неподвижно.

В сочельник нам кое-как удается наскрести пяточок, и мы отправляемся к мяенику за обычным подарком для Королька. Покупаем ему хорошую мозговую кость, заворачиваем ее в комикс и подвешиваем на верхушке елки, рядом с серебряной звездой. Королек знает, что она там. Он усаживается под елкой и, словно замороженный, не отрываясь, жадно смотрит вверх. Уже пора спать, а его никакими силами не оттащишь от елки. Я взбудоражен не меньше его. Сбрасываю с себя одеяло, переворачиваю подушку, как в жаркую летнюю ночь. Где-то кричит петух, но это он прежде времени — солнце еще над другой стороной земли.

— Дружок, ты не спишь? — окликает меня из своей комнаты моя подружка. Комнаты наши рядом, и мгно-

венье спустя она уже сидит со свечкой в руке у меня на кровати.

— Знаешь, у меня сна — ни в одном глазу, — говорит она. — Мысли скачут, как зайцы. Ты как думаешь, Дружок, миссис Рузвельт подаст наш пирог к обеду?

Оба мы беспокойно вертимся, она стискивает мне руку, выражая этим свою любовь.

— А ведь раньше рука у тебя была куда меньше. До чего же мне тяжело видеть, как ты растешь. А когда ты совсем вырастешь, мы все равно будем друзьями?

Я отвечаю, что будем всегда.

— Я так расстроена, Дружок! Мне очень хотелось подарить тебе велосипед. Я пробовала продать камео — папин подарок. Дружок... — Она смущенно останавливается. — ...Я опять смастерила тебе змея.

Тут я признаюсь, что тоже смастерил ей в подарок змея, и мы начинаем хохотать. Свеча догорает, ее уже не удержать в руке. Вдруг она гаснет, и в комнату проникает звездный свет. Звезды размеренно кружатся в окошке, они словно видимые глазу рождественские псалмы, медленно-медленно умолкающие с зарей... Наверное, мы задремали, но первый утренний свет будто обрызгивает нас холодной водой; мы вскакиваем и, тараща глаза от волнения, слоняемся по дому — ждем, когда же проснутся остальные. Моя подружка нарочно роняет на кухне чайник. Я отплясываю чечетку перед закрытыми дверями. Постепенно все обитатели дома, один за другим, вылезают из своих спален, и по виду их ясно, что они готовы убить нас обоих. Но нельзя — рождество! Для начала — обильнейший завтрак. Чего тут только нет — и оладьи, и жаркое из белки, и маисовая каша, и сотовый мед. У всех повышается настроение, но только не у меня и не у моей подружки. По правде сказать, мы ждем не дождемся рождественских подарков, от нетерпения нам кусок не лезет в горло.

Ну так вот, я очень разочарован. Да тут кто угодно разочаруется: мне преподносят носки, рубашку для воскресной школы, несколько носовых платков, поношенный свитер и годовую подписку на детский религиозный журнал «Юный пастырь». Во мне все кипит, ей-богу!

У подружки моей урожай богаче. Самый приятный из полученных ею подарков — кулек с мандаринами. Но главный предмет ее гордости — шаль из белой шерсти, связанная замужней сестрой. Впрочем, она уве-

ряет, что больше всего обрадовалась моему змею. Он и вправду очень красивый, хотя и не так хорош, как тот, который мне дарит она. Тот змей голубой, он усыпан зелеными и золотыми звездочками, полученными за примерное поведение, и ко всему на нем краской выведено — ДРУЖОК.

— Дружок, поднимается ветер!

Ветер и впрямь поднялся. Позабыв обо всем, мы бросаемся на лужайку за домом, где Королек зарывает обглоданную кость (и где следующей зимой зарюют его самого). Там, продираясь сквозь густую, высокую, по пояс, траву, мы запускаем наших змеев и чувствуем, как они рвутся с бечевки — словно небесные рыбы плывут по ветру и дергают удочки. Согретьшись на солнце, мы, довольные, растягиваемся на траве, чистим мандаринки и смотрим, как мечутся в поднебесье наши змеи. Вскоре я забываю и про носки, и про поношенный свитер. Я так счастлив, будто мы получили тот самый приз в пятьдесят тысяч долларов, который обещан за лучшее название для новой марки кофе.

— Ой, ну и дура же я! — восклицает моя подружка, вдруг встрепенувшись, словно она забыла вынуть лепешки из духовки. — Знаешь, о чем я все думаю? — говорит она таким тоном, будто только что сделала важное открытие, и улыбается, глядя куда-то мимо меня. — Я раньше думала: человек может увидеть господя, только если он болен или же умирает. И я представляла себе: господь является в сиянии, прекрасном, как цветное окошко в баптистской церкви, когда в него светит солнце, и таком ярком, что не заметишь даже, как наступит тьма. Большое было утешение думать, что от этого света все страхи исчезнут. А теперь могу об заклад побиться, что так не бывает. Ручаюсь — когда человек умирает, ему становится ясно, что господь уже являлся ему. Что все вот это... — и она делает широкий жест рукой, показывая на облака, и на наших змеев, и на траву, и на Королька, зарывающего кость, — все, что люди видят вокруг, это и есть бог. Что до меня, я могла бы покинуть мир, имея перед глазами хотя бы нынешний день.

Это последнее рождество, которое мы проводим вместе. Жизнь разлучает нас. Те, кто уверен, что им надлежит вершить мою судьбу, решают, что меня надо

отдать в военную школу. И начинается унылое чередование тюрем, где жизнь подчинена сигналам горна, и мрачных летних лагерей с их опостылевшей побудкой. Теперь у меня другой дом, однако он не в счет. Мой дом там, где живет моя подружка, но больше мне в нем не пришлось побывать.

А она остается там и, как прежде, возится в кухне. Сперва вдвоем с Корольком. Потом совсем одна. («Дружок, хороший мой,— с трудом разбираю я ее каракули,— вчера лошадь Джима Мейси убила копытом Королька. Хорошо еще, что песик не очень мучился. Я его завернула в простыню из тонкого полотна и свезла в коляске на Симпсонов луг — пусть лежит вместе со всеми косточками, которые там зарывал...»)

Еще несколько раз она печет к рождеству пироги, теперь уже без меня. Печет не так много, как прежде, но печет и, разумеется, всегда присылает мне «самый удачный из всех».

В каждом письме я нахожу монетку в десять центов, обернутую в туалетную бумагу: «Сходи в кино и напиши мне, про что картина». Но мало-помалу она начинает путать меня в своих письмах с другим своим приятелем — тем Дружком, который умер еще в восьмидесятых годах; все чаще и чаще она остается в постели не только тринадцатого числа, но и в другие дни. И наконец наступает по-зимнему холодное ноябрьское утро, когда деревья совсем обнажились и больше не слышно птиц, а подружка моя уже не может подняться с постели, не может воскликнуть:

— Ух ты! Погода — в самый раз для рождественских пирогов!

И когда это случается, я ощущаю это сразу. Сообщение от родных лишь подтверждает весть, которую я каким-то таинственным образом уже получил. И от меня отрывается что-то — незаменимая часть моего существа, — словно рвется бечевка и улетает бумажный змей. Вот почему, проходя в то декабрьское утро по школьному двору, я обвожу глазами небо. Будто надеюсь увидеть двух упущенных змеев, торопливо и дружно улетающих в небеса.



### ОДИН ИЗ ПУТЕЙ В РАЙ

Однажды в субботу, погожим мартовским днем, когда дул приятный ветерок и по небу плыли облака, мистер Айвор Белли купил у бруклинской цветочницы внушительный букет нарциссов и доставил его — сперва подземкой, а затем пешком — на огромное кладбище в Куинсе. Он не был здесь с прошлой осени, когда хоронил жену. Да и сегодня его привели сюда вовсе не сантименты, ибо в характере миссис Белли, которая прожила в супружестве с ним двадцать семь лет и произвела на свет двух дочерей, успевших за эти годы стать взрослыми и выйти замуж, сочетались свойства весьма разнообразные, по преимуществу трудно переносимые; так что мистер Белли отнюдь не жаждал возобновить общение со столь беспокойным человеком, хотя бы чисто духовное. Вовсе нет. Просто суровой зиме вдруг при-



шел конец, и в этот чудесный денек, предвещавший весну, ему остро захотелось поразмяться, подышать воздухом, потешить душу хорошей прогулкой; неплохо, конечно, что попутно он сможет в разговорѣ с дочерьми упомянуть о своей поездке на могилу их матери, — кстати, возможно, это немного умилюстит старшую, а то она как будто возмущена тем, что он с такою охотой зажил на холостяцкий манер.

Кладбище отнюдь не являло собой мирной, отрадной взору картины; напротив, оно наводило жуть: на сотни метров вокруг — серые, словно туман, могильные камни, разбросанные на голой, без единого пятнышка тени равнине, лишь кое-где поросшей чахлою травкой. Ясно видневшиеся вдали небоскребы Манхэттена казались отсюда красивой декорацией — они громоздились, как высоченное надгробие над могилами выжатых до последней капли людей, бывших когда-то, очень давно, жителями Нью-Йорка. При виде столь причудливой композиции мистер Белли — а он был по профессии сборщик налогов и потому умел оценить иронию, пусть самую жестокую, — насмешливо улыбнулся, даже хихикнул, и все-таки... боже правый! — у него поубавилось бодрости, и он уже не так весело вышагивал по прямым, усыпанным гравием кладбищенским дорожкам. Он шел все медленнее и наконец остановился совсем. «Лучше было повести Морти в зоологический сад», — мелькнуло у него в голове. (Морти был его трехлетний внук.) Но повернуть сейчас обратно было бы просто хамством, мстительностью по отношению к жене. Да и зачем пропадать букету? Бережливость и добропорядочность заставили его ускорить шаг, и он тяжело дышал от спешки, когда наконец нагнулся, чтобы втиснуть нарциссы в каменную урну, пустевшую на серой неполированной плите с аккуратными готическими буквами. Надпись на плите уведомляла, что

**САРА БЕЛЛИ**

1901—1959

в прошлом —

**ВЕРНАЯ СУПРУГА АЙВОРА**

**ЛЮБИМАЯ МАТЬ АЙВИ И РЕБЕККИ**

Господи, какое все-таки облегчение сознавать, что эта женщина наконец-то умолкла! Но как ни успокоительно было это сознание, подкрепляемое к тому же прият-

ными мыслями о его новой, тихой, холостяцкой квартире, оно уже не могло вновь зажечь в нем внезапно угасшую радость бытия, которую вызвал у него погожий денек, вернуть ему уверенность, что сам-то он будет жить вечно. Выходя из дому, он предвкушал столько удовольствия от прогулки, свежего воздуха, аромата приближающейся весны. А вот сейчас вдруг подумал, что зря не надел шарфа: солнце сияло обманчиво, оно еще не грело по-настоящему, да и ветер что-то вдруг разыгрался вовсю. Расположив покрасивей нарциссы, он пожалел, что нельзя поставить их в воду — тогда они сохранились бы дольше, но потом махнул на цветы рукой и повернулся, чтобы уйти.

Путь ему загораживала какая-то женщина. Хотя народу на кладбище было немного, он ее не заметил раньше и не слышал, как она подошла. Не давая ему пройти, она мельком взглянула на нарциссы. Потом глаза ее, смотревшие из-за очков в металлической оправе, вновь обратились к мистеру Белли.

— Хм. Родственница? — спросила она.

— Жена, — ответил он и для порядка вздохнул.

Она тоже вздохнула — странный это был вздох; в нем чувствовалось удовлетворение.

— Ох, простите!

У мистера Белли вытянулось лицо:

— Ничего не поделаешь.

— Беда-то какая.

— Да.

— Но она недолго болела? Не мучилась?

— Н-н-нет, — протянул он, переминаясь с ноги на ногу. — Это случилось во сне. — Потом, чувствуя по ее молчанию, что она не удовлетворена столь кратким ответом, добавил: — Сердце.

— Ох ты! Вот и отец мой из-за этого умер. Совсем недавно. Значит, у нас с вами есть кое-что общее, — сказала она и жалобным тоном, от которого ему стало не по себе, добавила: — Нам есть о чем поговорить.

— ...понимаю, каково вам.

— Но они хотя бы не мучились. Это уже утешение.

Запальный шнур, подведенный к терпению мистера Белли, догорал. До сих пор он, как это приличествовало случаю, не поднимал глаз, только вначале бросил на женщину беглый взгляд, а потом ограничивался созерцанием ее туфель, грубоватых и прочных, — такую обувь,

именуемую практичной, обычно носят пожилые женщины и сиделки.

— Большое утешение,— сказал он и совершил одновременно три действия: поднял глаза, коснулся борта шляпы и сделал шаг вперед.

Но она опять не дала ему пройти, как будто ее кто-то нанял специально, чтобы его не пускать.

— Вы не скажете мне, который час? А то у меня часики старые,— проговорила она, смущенно похлоывая по какому-то вычурному механизму, красовавшемуся у нее на запястье.— Мне их купили, еще когда я кончила среднюю школу. Так что теперь они ходят неважно, старые очень. Но вид у них симпатичный.

Мистеру Белли пришлось расстегнуть пальто и извлечь из жилетного кармашка золотые часы. За это время он успел основательно разглядеть стоявшую перед ним женщину, чуть ли не разобрать ее на составные части. В детстве она, вероятно, была совсем светлая, об этом говорило всё: и белизна ее чистой скандинавской кожи, и здоровый крестьянский румянец на пухлых щеках, и синева простодушных глаз — такие честные глаза и красивые, несмотря на очки в металлической оправе, но волосы,— по крайней мере, жиденькие кудельки перманента, выглядывавшие из-под серо-бурой фетровой шляпы,— казались бесцветными. Была она чуть повыше мистера Белли — а ему с помощью специальных прокладок в туфлях удалось дотянуть свой рост до метра семидесяти трех — и, должно быть, потяжелей его; во всяком случае, вряд ли она испытывала особое удовольствие, поднимаясь по лестнице. Руки — что ж, типично кухонные руки; ногти — мало того, что обкусаны до мяса, так еще и покрыты каким-то диковинным перламутровым лаком. Простое коричневое пальто, в руках простая черная сумка. Когда он, разглядев все эти частности, снова свел их воедино, оказалось, что перед ним — очень приличная на вид женщина, и она ему явно нравится; правда, этот лак на ногтях внушает подозрение, но все-таки чувствуется — она из тех, кому можно довериться. Так же, как он доверялся во всем Эстер Джексон — мисс Джексон, своей секретарше. Да, да, вот кого она явно напоминает — мисс Джексон. Не то чтоб сравнение это было особенно лестным для мисс Джексон (о которой он как-то раз, в пылу супружеской ссоры, сказал, что она «изящно мыслит и вообще на

редкость изящна»). И все же стоявшая перед ним женщина, казалось, исполнена доброжелательности, а именно это свойство он так ценил в своей секретарше мисс Джексон, в Эстер (как он недавно по рассеянности к ней обратился). Он решил даже, что они примерно одного возраста — обеим сильно за сорок.

— Полдень. Ровно двенадцать.

— Подумать только! Да вы, наверно, с голоду умираете! — воскликнула она, и, раскрыв сумку, стала разглядывать ее содержимое, словно это была корзина для пикника, до того набитая всякой снедью, что ее хватило бы на smögåsbord<sup>1</sup>. Потом извлекла оттуда горсть земляных орехов. — Я кроме орешков почти ничего и не ем — с тех самых пор, как папаша... с тех пор, как мне больше не для кого стряпать. Вот я так говорю, а, по правде сказать, сама по своей стряпне соскучилась; папаша всегда говорил, у меня все вкусней, чем в любом ресторане. Но что за радость стряпать для себя одной? Даже если умеешь печь пироги, легкие, как пух. Берите орешки. Угощайтесь. Я только что их поджарила.

Мистер Белли взял орехи. Он всегда их по-детски любил и сейчас, усевшись на могилу жены, чтобы с ними расправиться, думал лишь об одном, — хорошо б, у его новой приятельницы их было побольше. Жестом он предложил ей сесть рядом и с удивлением заметил, что она смутилась. И без того румяные щеки ее покраснелись еще сильнее — можно было подумать, что он предложил ей превратить могилу миссис Белли в любовное ложе.

— Вам-то можно. Вы муж. А я? Разве ей бы это понравилось? Какая-то чужая женщина расселась тут, на ее... на месте ее последнего упокоения...

— Ну что вы! Располагайтесь. Сара ничего не имела бы против, — сказал он, радуясь, что мертвые не могут слышать. Ему стало жутковато и в то же время смешно, когда он подумал, что сказала бы Сара, эта любительница бурных сцен, ревниво осматривавшая его одежду в поисках белокурых волос и следов губной помады, что сказала б она, если бы могла видеть, как он щелкает

---

<sup>1</sup> Холодные закуски, подаваемые с пивом и водкой (норвеж.).

орехи, рассевшись у нее на могиле вместе с женщиной, не лишенной привлекательности.

И вот тут-то, когда она осторожно присела на краешек могилы, он обратил внимание на ее левую ногу. Нога не сгибалась и торчала, словно она вытянула ее нарочно, чтоб подставлять подножки прохожим. Перехватив его любопытный взгляд, она улыбнулась, подвигала ногой.

— Несчастный случай, понимаете? Я еще маленькая была. Свадилась с русских гор на Кони-Айленде. Правда. Про это даже в газетах было. Никто не понимает, как я осталась жива. Но колено с тех пор не сгибается. А так мне это ничуть не мешает. Только танцевать не могу. А сами-то вы охотник до танцев?

Мистер Белли помотал головой — рот у него был набит орехами.

— Ага, значит и это у нас с вами общее. Хм... Танцы. Я бы, наверно, любила танцевать. Но не могу. А вот музыку обожаю.

Мистер Белли кивнул в знак солидарности.

— И цветы,— добавила она, потрогав нарциссы. Потом пальцы ее поползли вверх по плите и прошлись по выбитым на мраморе буквам его имени, словно она читала шрифт для слепых.

— Ивор,— прочла она, неверно произнеся его имя.— Ивор Белли. А меня звать Мэри О'Миген. Жаль, что я не итальянка. Вот сестра у меня итальянка; ну, то есть она замужем за итальянцем. Ой, до чего ж он веселый, а добродушный какой и хлопотун, как все итальянцы. Он говорит, никогда не едал макарон вкуснее, чем у меня. Особенно под рыбным соусом. Вам непременно надо их как-нибудь попробовать.

Мистер Белли, покончив с орехами, стряхивал скорлупу с колен.

— Что ж, перед вами еще один любитель макарон. Только я не итальянец. Просто фамилия у меня такая. А сам я еврей.

Она нахмурилась, но не в знак неодобрения, а так, словно сообщение это каким-то непонятным образом смутило ее.

— Мы выходцы из России. Я там родился.

При этих словах она снова воспрянула духом и заговорила еще оживленней:

— А мне наплевать, что там газеты пишут. Я уве-

рена: русские — они такие же, как все. Люди как люди. Вы смотрели по телевизору балет Большого? После такого можно гордиться, что родился в России, верно ведь?

«Она хочет сделать мне приятное», — подумал он и промолчал.

— Свекольник, горячий или холодный, со сметаной. Хм... м... Вот видите, — сказала она, снова протягивая ему пригоршню орехов, — вы же проголодались. Бедняжка. — Она вздохнула. — Как вы, наверно, соскучились по домашней стряпне!

Он и в самом деле соскучился и сейчас, когда от разговоров о еде у него разыгрался аппетит, отчетливо это понял. При Саре у них был превосходный стол, разнообразный и вкусный; все всегда подавалось вовремя. Ему вспомнились праздничные, пахнущие корицей дни; вспомнились обеды — аппетитная мясная подливка и вино, накрахмаленная скатерть, «парадное» серебро и приятная послеобеденная дремота. И ведь вот еще что — ни разу в жизни Сара не попросила его хотя бы тарелку вытереть (он слышал, бывало, как она тихонечко напевает в кухне), ни разу не пожаловалась, что ей надоело хозяйничать. Она ухитрялась так растить девочек, будто их воспитание было ровной чередой радостных, тщательно подготовленных ею событий; участие в нем мистера Белли сводилось к роли восхищенного наблюдателя. И если теперь он мог гордиться своими дочерьми (старшая, Айви, была замужем за хирургом-стоматологом и жила в Бронксвилле, младшая — за А. Дж. Крэкоуэром, совладельцем юридической фирмы «Финнеган, Лэб и Крэкоуэр»), то этим он всецело обязан Саре — обе они были личным ее достижением. Вообще, в пользу Сары можно сказать немало, и ему самому было отрадно, что он так думает, что ему вспоминаются сейчас не те нескончаемые, невыносимые часы, когда она точила на нем язык, разнося его за простецкие манеры и за ею же выдуманные пороки — и в покер-то он играет, и за женщинами волочится, — а совсем другие, приятные, моменты: вот Сара горделиво демонстрирует самодельные шляпки, вот она зимой порой разбрасывает на подоконниках крошки для голубей... Поток видений, сносящий в море сор неприятных воспоминаний... Он почувствовал грусть и обрадовался этому чувству, а вместе с тем огорчился, что не испытывал огорчения до сих пор;

но хотя он вдруг совершенно честно отдал должное Саре, он был не в силах притворяться, будто жалеет, что их совместная жизнь кончилась, — ведь в общем-то, сейчас ему живется гораздо приятнее, чем при ней. А все-таки лучше было вместо этих нарциссов принести ей сегодня орхидею — яркую, праздничную, вроде тех, какие она всякий раз сберегала после дня рождения которой-нибудь из дочек и держала потом в холодильнике, покуда они не завянут.

— ...ведь верно? — услышал он вдруг и не сразу понял, кто это говорит; потом, растерянно поморгав, узнал Мэри О'Миген — голос ее звучал безостановочно, не доходя до его сознания, очень робкий, усыпляющий голос, странно тихий и молодой для такой дородной особы.

— Я говорю, они у вас умницы, верно?

— Да как вам сказать... — осторожно ответил мистер Белли.

— Скромничайте, скромничайте! А я все равно уверена, что умницы. Если они в папу. Ха-ха! Вы не подумайте только, что я это серьезно, я шучу. Нет, правда, до смерти обожаю ребятшек. Не променяю ребенка ни на кого из взрослых. У моей сестры их пятеро: четверо мальчишек и одна девочка. Дот, моя сестра, вечно пристает ко мне, чтобы я с ними посидела, — ведь теперь у меня уйма времени, уже не нужно всякую минуту присматривать за отцом. Они с Фрэнком — это мой шурин, я вам про него рассказывала, — так вот они говорят: Мэри, лучше тебя никто с ребятами не умеет, да еще чтоб от них удовольствие получать! Но это ж так просто: напоить ребятшек горячим какао, а потом пускай всласть пошвыряются подушками — будут спать, как убитые.

— Айви, — прочла она вслух, вглядываясь в надгробную надпись. — Айви и Ребекка. Хорошие имена. Уверена — вы делаете для них все, что только можно. Но две маленьких девочки без матери...

— Да нет же, — возразил мистер Белли. (Ей наконец удалось втянуть его в разговор.) — Айви сама уже мать. А Бекки ждет ребенка.

На лице ее промелькнуло разочарование, но тут же сменилось удивлением:

— Как, уже дедушка? Вы?

У мистера Белли были кое-какие тщеславные заблуждения: ему, например, казалось, что у него больше

здорового смысла, чем у других; а еще он считал себя ходячим компасом; луженый желудок и умение читать вверх ногами также способствовали его самоутверждению. Но, глядя на себя в зеркало, он не испытывал особого восторга; не то чтоб он был недоволен своею внешностью, просто он понимал, что она очень так себе. Урожай его темных волос осыпался вот уже несколько десятилетий, и сейчас голова его напоминала обнажившееся поле; нос явно выказывал характер, а подбородок, хоть и усердствовал вдвойне, все-таки был бесхарактерный; плечи широкие, да он и весь был широкий. Разумеется, вид у него был опрятный: он следил, чтобы туфли его всегда сверкали, своевременно отдавал белье в стирку, дважды на дню скоблил и припудривал свои синеватые щеки. Но все это не скрадывало, а скорее подчеркивало его заурядность — ничем не примечательный человек средних лет и среднего достатка. Однако он и не думал оспаривать льстивые слова Мэри О'Миген — ведь что там ни говори, а незаслуженный комплимент зачастую самый приятный.

— Черт, да мне уже пятьдесят один, — сказал он, убавив себе четыре года. — Впрочем, нельзя сказать, чтобы я их чувствовал.

Сейчас он и в самом деле не чувствовал своих лет. Может быть, потому что ветер улегся и солнце уже припекало по-настоящему. Как бы то ни было, в нем вновь разгорелась надежда, он вновь был бессмертен и строил планы на будущее.

— Пятьдесят один? Это же пустяки! Самый расцвет для мужчины. Если, конечно, следить за собой. Мужчине вашего возраста нужен уход, о нем кто-то должен заботиться.

Пожалуй, на кладбище человек в безопасности от дамочек, ищущих себе мужа? Мысль эта, внезапно пришедшая ему в голову, остановилась и замерла, покуда он всматривался в простодушное, приветливое лицо Мэри О'Миген, пытаясь прочесть в ее взгляде коварный умысел. Хоть и несколько успокоившись, он все же почел за лучшее напомнить ей, где они находятся.

— А ваш отец... — тут мистер Белли сделал неловкий жест, — он тоже где-нибудь здесь поблизости?

— Папаша? Да нет. Он был решительно против. Ни в какую не хотел, чтобы его закопали. Так что он дома.

Перед глазами мистера Белли возникло тягостное



видение, которое не смогли отогнать даже последующие слова Мэри О'Миген:

— То есть его прах, конечно! Что поделаешь! — Она пожалала плечами. — Такова была его воля. А, понимаю: вам невдомек — что же я здесь тогда делаю? Просто я тут неподалеку живу. Неплохая прогулка да и вид...

Разом обернувшись, они стали вглядываться в даль. Над шпилями небоскребов стягами реяли облака, и ослепленные солнцем окна сверкали мириадами слюдяных блесток.

— День прямо для парада! — сказала Мэри О'Миген.

Мистер Белли подумал: «Ей-богу, славная женщина», а потом сказал это вслух, но тут же пожалел; она, разумеется, спросила, почему он так считает.

— Потому что... Ну, у вас это так мило получилось — насчет парада.

— Вот видите, сколько у нас с вами общего! Ни одного парада не пропускаю, — горделиво объявила она. — Обожаю горны. Я и сама на горне играю, — верней, раньше играла, когда была в «Святом сердце»<sup>1</sup>. Вот вы говорили... — И она понизила голос, словно тема, которой она собиралась коснуться, требовала торжественного тона. — Вот вы сказали, что любите музыку. А у меня дома — тысячи старых пластинок. Ну — сотни. Папаша, пока не ушел на покой, работал на фабрике грампластинок — покрывал пластинки шеллаком. Вы Элен Морган помните? Я от нее с ума схожу, просто обалдеваю.

— О, господи, — шепотом выдохнул мистер Белли. Руби Килер, Джин Харлоу — это все были его бурные, но преходящие увлечения. А вот Элен Морган — белесый, как альбинос, призрак, усыпанный блестками, переливающимися в огнях рампы, — ох, и любил же он ее!

— А вы тогда поверили? Что она спилась и погибла? Из-за какого-то гангстера?

— Ну, какое это имеет значение! Она была очаровательна.

— Иной раз сию я одна и чувствую — все-все мне надоело, и тогда я начинаю воображать, будто я Элен Морган. Будто я выступаю в ночном клубе. Это занятно, знаете?

— Знаю, — подхватил мистер Белли; он и сам <sup>убо-</sup>

<sup>1</sup> Католическая молодежная организация в США (Прим. перев.)

жал придумывать разные истории, которые могли бы с ним приключиться, будь он невидимкой.

— Разрешите спросить, — вы мне не сделаете одно одолжение?

— Если смогу — с удовольствием.

Она набрала побольше воздуха и задержала дыхание, будто ныряя в набегающую волну робости, потом, словно выплыв опять на поверхность, сказала:

— Тогда послушайте, как я ей подражаю. И честно скажите мне свое мнение, хорошо?

Она сняла очки. Их металлическая оправа так сильно врезалась ей в переносицу и подглазья, что казалось, рубцы у нее на лице останутся навсегда. Глаза — оголенные, затуманенные, беззащитные — глядели растерянно, словно напуганные внезапной свободой; веки с реденькими ресницами трепетали, как птицы, долго сидевшие в клетке и неожиданно-негаданно выпущенные на волю.

— А теперь дайте волю своему воображению. Представьте себе, что я сижу за роялем... Ох, извините меня, ради бога, мистер Белли!

— Ничего. Забудьте об этом. Итак, вы сидите за роялем.

— Я сижу за роялем, — мечтательно повторила она и, откинув голову, приняла весьма романтическую позу. Потом втянула щеки, рот ее приоткрылся: Мистер Белли тотчас же закусил губу — до того неуместным казалось это чарующее выражение на пухлом, розовом лице Мэри О'Миген. Лучше б оно не появлялось вовсе. Она помолчала, словно пережидая музыкальное вступление, потом: *«Не покидай меня, побудь со мною. Ведь мы с тобой одно. Когда ты здесь, вся жизнь озарена тобою. А без тебя так пусто и темно!»*

Мистер Белли был потрясен: в точности голос Элен Морган, и голос этот, такой теплый, изысканно-гибкий, нежно вибрирующий на высоких нотах, казалось, был не имитацией, а принадлежал самой Мэри О'Миген, был естественным выражением ее сущности, скрытой от посторонних глаз. Мало-помалу она перестала позировать и теперь сидела прямо, зажмурив глаза: *«...Ты так мне нужен! В горе и в тревоге привыкла я всегда к тебе итти. Не покидай меня! Оставленной тобою, к кому, скажи мне, боль свою нести?»* Оба они лишь с большим опозданием заметили, что уединение их нарушено. Чер-

ной гусеницей подползала похоронная процессия, и все участники ее, подавленные, безмолвные негры, с таким ужасом глазели на белую пару, словно наткнулись на двух забулдыг, задумавших ограбить могилу; все — кроме маленькой девочки: увидев их, она так и закатилась, а потом никак не могла остановиться; ее судорожный, похожий на икоту, смех слышался еще долго после того, как процессия, отойдя на порядочное расстояние, исчезла за поворотом.

— Будь это моя девчонка... — заговорил мистер Белли.

— Ой, до чего мне стыдно!

— Слушайте, будет вам. Ну что тут такого? Это было прекрасно. Я серьезно. Петь вы можете.

— Спасибо, — сказала она и вновь водрузила на носочки, словно преграждая путь готовым хлынуть слезам.

— Поверьте, я был тронут. Знаете, чего бы мне хотелось? Чтобы вы спели на бис.

Можно было подумать, что она девочка, которой дали воздушный шарик, но не простой, а особенный: он все раздувался и раздувался, пока не взмыл вместе с нею вверх, и она заплясала в воздухе, лишь изредка касаясь земли носками туфель. Потом опустилась на землю, чтобы сказать: — Только не здесь. Может... — начала было она, но тут же опять воспарила и весело закачалась там, наверху. — ...Может, вы как-нибудь позволите мне угостить вас обедом. Уж я соображу вам настоящий русский обед. А потом мы послушаем пластинки.

...Тревожная мысль, подозрение, еще недавно бесплотным призраком проскользнувшее мимо, сейчас надвигалось на мистера Белли с тяжелым топотом; теперь это было налитое жиром существо, поперек себя шире, и мистер Белли уже не мог его отогнать.

— Благодарю вас, мисс О'Миген. Это очень приятная перспектива, — сказал он, но тут же поднялся, поправил шляпу и обдернул пальто. — Если слишком долго сидеть на холодном камне, можно простудиться.

— Когда же?

— Да никогда. Никогда не надо сидеть на холодном камне.

— Когда же вы придете ко мне обедать?

Мистер Белли умел изворачиваться — от этого в немалой степени зависел его заработок.

— Когда вам угодно, — ответил он как ни в чем не

бывало. — Только не в самые ближайшие дни. Я работаю в налоговой системе, а вы ведь знаете, каково нам, беднякам, приходится в марте. Вот так-то, — добавил он, снова вытаскивая часы, — пора мне опять запрягаться.

Но не мог же он — право, не мог — просто так взять и уйти, оставив ее сидеть на Сариной могиле. Она заслужила вежливое обращение, хотя бы одними орехами, да и не только: ведь это благодаря ей он вспомнил про Сарины орхидеи, как они съезжались в холодильнике. И вообще она славная. Чтобы совсем чужая женщина оказалась такой симпатичной — небывалое дело. Лучше всего было бы сослаться на погоду, но погода не давала никаких поводов для жалоб: облака поредели, солнце светило даже чересчур ярко.

— Становится свежо, — объявил он и потер руки. — Может пойти дождь.

— Мистер Белли! Я хочу вам задать один очень личный вопрос, — заговорила она, отчетливо выговаривая каждое слово. — Мне не хотелось бы, чтобы вы думали, будто я приглашаю к обеду каждого встречного и поперечного. Мои намерения... — Глаза ее блуждали, голос дрожал, словно откровенность эта была лицедейством, требовавшим от нее непомерных усилий. — Поэтому я хочу вам задать один очень личный вопрос: думали вы о том, чтобы снова жениться?

В ответ мистер Белли заурчал — так урчит нагревающийся приемник, прежде чем заговорить; когда же он наконец подал голос, звуки его напоминали атмосферные помехи.

— Что вы, это в моем-то возрасте? Я даже собаку заводите не хочу. Что мне нужно? Телевизор. Ну, пива немножко. Покер раз в неделю. Черт подери! Да кому я, к чертям собачьим, нужен?

Но едва он это сказал, как его кольнула мысль о Ребеккиной овдовевшей свекрови, в прошлом — зубной врачихе, Полине Крэкоуэр, весьма напористой участнице некоего семейного заговора... А Сарина лучшая подруга, настырная «Мышка-Норушка» Поллок? Как ни странно, пока Сара была жива, обожание Мышки-Норушки его забавляло, и при случае он умел им воспользоваться, но после Сариной смерти он в конце концов объявил Мышке, чтобы она ему больше не звонила. (И она заорала в ответ: «Все, что Сара про тебя говорила, чистая правда! Ах ты жирный волосатик, мразь

и выражаешь сочувствие, вот вроде и познакомились. Или погожим денком сходишь сюда, на кладбище. А то отправляешься в Вудлаун — там всегда прогуливаются вдовцы. Стосковались по домашнему уюту и, может, не прочь снова жениться.

Когда мистер Белли понял, что она говорит вполне серьезно, ему стало не по себе. Но вместе с тем это было забавно, и он рассмеялся, сунув руки в карманы и закинув голову. Вторя ему, Мэри О'Миген рассыпалась коротким смешком, от которого снова порозовела, и проказливо привалилась к плечу мистера Белли.

— Ведь я и сама,— сказала она, хватая его за рукав,— я и сама понимаю, что это смешно...— Вдруг она снова стала серьезной: — Да, но именно так Энни нашла себе мужей. Обоих — сперва мистера Крукшенка, а потом мистер Остина. Значит, это все-таки разумная мысль. Вы не согласны?

— Почему же, согласен.

Она пожала плечами.

— Но у меня ничего не выходит. Взять хоть нас, к примеру. Уж, казалось бы, у нас с вами столько общего!

— Когда-нибудь выйдет,— бросил он, ускоряя шаг,— с другим парнем, побойчее меня.

— Не знаю. Мне попадались чудесные люди. И всякий раз кончалось вот так. Как у нас с вами...— начала было она, но так и не договорила: внимание ее привлек новый пришелец, появившийся в воротах кладбища,— шустрый коротышка с весьма энергичной походкой, весело посвистывавший на ходу. Мистер Белли тоже его заметил и, увидав, что на рукаве его пальто из ярко-зеленого твида нашита черная траурная повязка, проговорил:

— Желаю удачи, мисс О'Миген. Спасибо вам за орехи.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Тугушева.</i> Предисловие . . . . .	3
ГОЛОСА ТРАВЫ . . . . .	11
РАССКАЗЫ	
Я тоже могу такого порассказать...	125
Бутыль серебра . . . . .	137
Дети в день рождения . . . . .	154
Воспоминания об одном рождестве	176
Один из путей в рай . . . . .	191

**ТРУМЭН КЭПОТ**  
**ГОЛОСА ТРАВЫ**  
**ПОВЕСТЬ • РАССКАЗЫ**

Редактор *А. Мурик*  
Художественный редактор  
*Д. Ермоленко*  
Технический редактор  
*З. Евдокимова*  
Корректор *Д. Эткина*

Сдано в набор 18/VIII 1970 г. Подпи-  
сано к печати 16/XII 1970 г. Бумага  
газетная. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. 6,5 печ. л.  
10,92 усл. печ. л. 11,286 уч.-изд. л.  
Зак. 3745. Тираж 100 000. Цена 58 коп.

Издательство  
«Художественная литература»  
Москва, Б-66,  
Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография  
«Красный пролетарий»  
Москва, Краснопролетарская, 16

**58 коп.**